

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

საქართველოს
ლიტერატურის
ინსტიტუტი

1978-5

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1978
5

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

«БЫТЬ ВОИНЫ НЕ ДОЛЖНО НИКОГДА» 3

ПОЭЗИЯ

ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ 20
БЕСИК ХАРАНАУЛИ 82

ПРОЗА

ОТАР ЧХЕИДЗЕ. Ветер, которому нет имени. Роман 22

К 140-ЛЕТИЮ ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ. Стихи. 96
ГЕРОНТИИ КИКОДЗЕ. Традиции грузинской культуры и Илья Чавчавадзе . . 94
ГЕОРГИИ ДЖИБЛАДЗЕ. Илья Чавчавадзе 107

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Гиви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТКИН, Исидор КОЗАЕВ, Георгий ЛОМИДЗЕ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Эммануил ФЕЙГИН, Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

«БЫТЬ ВОЙНЫ НЕ ДОЛЖНО НИКОГДА»

Май — это весна, пора цветения, это праздники, среди которых и День Победы.

Этот праздник особенно дорог нашему сердцу как одна из самых светлых дат—достался он слишком большой ценой.

«Быть войны не должно никогда» — эти слова из воспоминаний товарища Л. И. Брежнева «Малая земля» проникли в сердце каждого советского человека. Весь наш народ, все прогрессивное человечество с огромным интересом вчитывается в замечательные страницы книг Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение», обсуждает их в цехах и на стройках, в студенческих аудиториях и на научных конференциях.

«В наш ленинский арсенал партийно-организационной и партийно-политической работы поступило новое оружие особой моральной и боевой силы. Это замечательные произведения выдающегося теоретика и организатора эпохи развитого социализма, великого борца за мир во всем мире Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Возрождение».

Без преувеличения можно сказать, что книги Леонида Ильича «Малая земля» и «Возрождение» — это подлинная сокровищница выверенного временем, жизнью и наукой огромного опыта партии по руководству широкими народными массами в социалистическом

строительстве, в борьбе советского народа против мирового империализма».

Этими словами секретарь ЦК КП Грузии В. М. Си-
радзе 4 мая 1978 года открыла в Тбилиси объединенную научную сессию с участием партийного и идеологического актива республики, посвященную произведениям Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение».

В зале заседаний Верховного Совета Грузинской ССР — представители общественности Грузии, гости из братских республик — ветераны Великой Отечественной войны и легендарной 18-й армии, малоземельцы, участники возрождения Запорожья и Днепропетровска — живые герои произведений Л. И. Брежнева.

Прошло 33 года после окончания второй мировой войны. Но память о ней продолжает жить в сознании человечества. В течение этого времени как у нас, так и за рубежом было написано множество книг о войне — очерки, научные исследования, стихи, рассказы, романы, поэмы, созданы фильмы, живописные полотна, скульптуры.

Война оставила о себе память не только в виде зловещих следов, но и множеством памятников, воздвигнутых людьми в честь ее жертв и героев.

За войной последовали изменения на карте мира, в сфере международных отношений, в содержании государственного, общественного и экономического развития. Уроки войны внесли существенные коррективы в военную науку — стратегию, тактику. Итоги войны заставили по-новому осмыслить важнейшие политические проблемы современности.

Но вместе со всем этим Великая Отечественная война была великим нравственным испытанием для человека.

«Малая земля» и «Возрождение» — великолепные образцы документальной прозы, доносящие до нас дыхание времени, его динамику и ритмы, его тревоги и радости. Они рождают в нас сильный эмоциональный импульс, но как бы ни был могуч он, как бы ни увлекала нас литературно-художественная структура книг, главным для нас в них есть и будет партийное начало, идейно-философская основа, обращаясь к которой, мы



вооружаем себя руководством к практическому действию. Ведь, рассказывая о двух периодах своей жизни, Леонид Ильич щедро открывает нам богатейший арсенал организаторской и партийно-политической работы, лабораторию мысли и действия политического руководителя. «Дело — вот оселок, на котором познается истинная цена человека», — пишет он в «Возрождении», показывая нам и само дело, и величины, которые оно выявляет. Причем практические выводы из опыта даны не в виде наставлений, а в глубочайшем психологическом и нравственно-идейном обосновании, в контексте конкретных условий и обстоятельств времени. В этом смысле опыт приобретает особую наглядность, он материализуется, осуществляется у нас на глазах как итог напряженной работы ума и сердца талантливейшего партийного руководителя, для которого профессиональные обязанности неотделимы от его человеческого долга», — так оценил в своем докладе на объединенной научной сессии значение произведений Л. И. Брежнева первый секретарь ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе.

Волнующие воспоминания Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение», в которых с огромной впечатляющей силой раскрыты величие и непреходящая значимость ратного и трудового подвигов, совершенных советским народом под руководством ленинской партии, вызвали живой интерес миллионов, нашли горячий отклик в сердце каждого советского человека.

Этим волнующим произведением, ставшим настольными книгами советских людей, было посвящено и выездное заседание пленума правления Союза писателей Грузии, состоявшееся в городе Махарадзе — на родине выдающегося советского полководца, командарма 18-й армии Константина Леселидзе.

Для участия в работе пленума в город Махарадзе прибыли писатели и критики из Тбилиси, гости из Москвы, Киева, Днепродзержинска, Днепропетровска, Запорожья, Новороссийска, Геленджика, Керчи, Баку, городов Грузии, а также участники героической обороны Малой земли, люди, доказавшие своей жизнью в годы войны мужество, идейную стойкость, преданность Родине, партии.

Пленум вступительным словом открыл председатель правления Союза писателей Грузии, Герой Социалистического Труда Г. Абашидзе.

04.03.53
3032010335

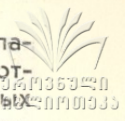
«В духовной жизни советского народа, — сказал он, — событиями большого общественно-политического значения стали книги воспоминаний товарища Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение».

Эти книги, со страниц которых слышно жадное дыхание фронта, уже прочно вошли в нашу жизнь, и каждому работнику идеологического фронта они служат каждодневным учебником и добрым советчиком.

Книги воспоминаний — блестящие образцы мемуарного жанра, они занимают особое место в литературе, созданной после войны в нашей стране и за рубежом. Товарищ Л. И. Брежнев — начальник политотдела 18-й армии — находился на фронте с самого начала и до конца войны, преодолевал вместе с бойцами все тяготы военного времени, находил для каждого теплые, задушевные слова. Леонид Ильич убедительно передает думы и настроения политического руководителя, значение роли партии в боевой жизни каждого бойца, ту душевную близость и дружбу, которые устанавливались на фронте между солдатом и его политическим руководителем.

«Малая земля» волнующе и впечатляюще рассказывает о беспримерной битве советских воинов за Малую землю, продолжавшейся 225 дней. На Малой земле бок о бок против врага боролись сыновья всех народов нашей страны. Их объединяла одна мысль — уничтожить врага. Рассказывая о пережитом на Малой земле, Л. И. Брежнев приводит множество примеров боевого содружества бойцов, он достойно оценивает заслуги каждого и показывает, что одна из основ мощи Советской Армии — это дружба народов. Она и стала решающим условием победы над врагом.

Наряду с другими героями войны Леонид Ильич с любовью и уважением вспоминает грузинских военачальников и бойцов. С особой теплотой он пишет о героизме и мужестве командарма 18-й армии К. Леселидзе: «Это был жизнелюб и храбрец, суровый к врагам и щедрый к друзьям, человек чести, человек слова, человек острого ума и горячего сердца».



«Малая земля» острым глазом и удивительной памятью воссоздает тяжелые картины войны. Автор открыл для нас и сделал близкими десятки неизвестных бойцов, заставил задуматься над их судьбами. Нарисовав коллективный портрет героев войны, он рассказал об одной небольшой части своего боевого пути, но перед читателем предстает стойкий и бесстрашный организатор, способный укрепить и повысить боевую и политическую закалку бойцов и показать примеры личного героизма солдатам, проникнувшимся большим доверием к нему.

Л. И. Брежнев вдохновенно говорит о писателях и журналистах, художниках и других мастерах искусства, об их участии в фронтовой жизни. Незабываемы те места из книги, где автор рассказывает о рождении песни — необходимой потребности людей и ее большом влиянии.

Вторая книга воспоминаний «Возрождение» начинается эпическим описанием послевоенного разрушенного города. Такое описание не часто встречается в художественных произведениях. Так входит Л. И. Брежнев в разрушенный город, который под его руководством должен возродиться из пепла и руин.

Автор подробно описывает послевоенные восстановительные работы. Он и здесь партийный руководитель — первый секретарь обкома крупного промышленного центра, организатор и участник всех этих больших работ.

Л. И. Брежнев интересно рассказывает о тех трудностях, которые пришлось преодолеть нашей стране, о том большом энтузиазме, огромной организаторской роли партии, благодаря которой миллионы патриотов проявили подлинный героизм в период послевоенного восстановления народного хозяйства Приднепровья. Десятки тысяч людей под руководством Запорожской областной партийной организации, возглавляемой в то время Л. И. Брежневым, в невиданно короткие сроки подняли из руин такие промышленные гиганты, как Днепрогэс и «Запорожсталь». Задушевная теплота и сердечность, с которыми автор повествует о людях Днепрогэса, «Запорожстали» и других предприятий, о партийных, советских, профсоюзных, комсомольских работни-

ках, присуща всей деятельности Леонида Ильича Брежнева. Он неоднократно подчеркивает преимущество избранного им метода работы и взаимоотношений со своими подчиненными — выслушать всех, дать возможность высказать свои мысли, проявлять инициативу, дать широкое распространение почину масс.

«Возрождение» является впечатляющим документом истории, бесценным сокровищем партийно-политического опыта, идейным оружием партии и народа, своеобразной энциклопедией партийной работы, в которой каждый коммунист и руководитель найдет рекомендации и ответы, как действовать в данной ситуации, как найти пути к сердцам людей, как мобилизовать их на выполнение больших задач.

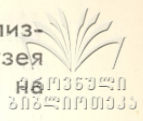
Герой этих двух книг — сам Леонид Ильич Брежнев, подлинный сын своего народа, олицетворявший лучшие его черты — стремление к светлым и высоким целям, верность, беспредельную любовь к Родине, самоотверженность. В книгах рассказано о лучших и красивейших частях большого пути, пройденного автором этих книг, от простого рабочего до инженера и руководителя страны, начальника политотдела армии до маршала Советского Союза.

Эти искренние повести представляют часть неповторимой биографии нашей великой страны. В самой жизни и борьбе Л. И. Брежнева отразились эпизоды борьбы и этапы жизни всего нашего народа. Поэтому так тепло и сердечно принял эти книги весь советский народ.

Грузинский народ, грузинская литература, — сказал в заключение Г. Абашидзе, — безгранично благодарны Л. И. Брежневу за большую работу по подъему и процветанию всех советских республик, в частности Советской Грузии, за сохранение и упрочение мира, за торжество коммунизма.

Сегодня грузинские писатели присоединяют свой восторженный голос к голосу миллионов читателей».

Участники выездного пленума правления Союза писателей Грузии, защитники легендарной Малой земли, ветераны 18-й армии — гости нашей республики пришли на главную площадь города — площадь Героев.



Сотни представителей общественности города, близлежащих районов стали свидетелями закладки Музея боевой славы 18-й армии, который будет сооружен на площади Героев в городе Махарадзе.

Здесь же были возложены венки к подножию обелиска, воздвигнутого в честь погибших в Великой Отечественной войне защитников Родины. Цветы украсили постаменты бюстов славных сынов Грузии, видных военачальников — уроженцев Махарадзевского района, Героев Советского Союза К. Леселидзе и П. Чанчибадзе.

Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто отдал жизнь за честь и свободу любимой Отчизны.

«Воздание почестей героям войны, увековечение памяти тех, кто отдал жизнь за чистое небо над нашей землей, стало святой традицией в нашей стране, — сказал в своем докладе на научной сессии, посвященной произведениям Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение», первый секретарь ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе. — И в том, что к камню, заложенному на месте будущего обелиска, положили цветы ветераны войны, сражавшиеся в легендарной 18-й армии, мы видим символическую связь времен, тех времен, которые встали в нашей памяти при чтении «Малой земли»; мы видим в этом акте и прямую связь со старшим поколением, боевой и трудовой пример которого вдохновляет нашу смену, тех, кому возводить коммунизм; мы видим в этом акте и прямую связь традиций братства народов великой Родины нашей, земли, впитавшей алую кровь героев Отечественной, среди которых и имена навечно оставшихся в истории всенародного подвига посланцев Грузии, ратную славу которой, как и нынешние трудовые победы, ковали вместе грузины и русские, абхазцы и осетины, армяне, азербайджанцы, украинцы — представители всех национальностей, населяющих нашу республику. Беречь и укреплять святыне, закаленные в боях традиции этого единства и братства — такова нынешняя задача, вытекающая из исторического урока Малой земли, всей великой эпопеи Отечественной войны.

В нашей массовой печати, в статьях и рецензиях, в выступлениях участников патриотических чтений, науч-

ных сессий, конференций, посвященных выходу в свет книги «Малая земля», — говорит Э. А. Шеварднадзе, — неоднократно подчеркивалось, что среди миллионов ее читателей есть особенно взволнованные читатели. Это — ветераны 18-й армии, непосредственные участники и герои малоземельской эпопеи».

Поток их писем — впечатлений и откликов на книгу Л. И. Брежнева «Малая земля» неиссякаем. Мы предоставляем страницы нашего журнала участникам боев на Малой земле, ветеранам легендарной 18-й армии.

Владимир ЗАРЕЛУА,
генерал-майор в отставке

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ...

Воспоминания Л. И. Брежнева «Малая земля» стали крупным событием в нашей общественной жизни. Раскрывая героическую эпопею защиты Малой земли, Леонид Ильич показал истоки великого подвига советского народа, его духовную и нравственную силу, мужество и стойкость, его любовь к родной стране, к ленинской партии, к социалистическому строю. Его воспоминания — это не дневник событий, как пишет сам автор. Это глубоко выстраданные эпизоды сражений, которые никогда не изгладятся из памяти человека, эпизоды, участником которых он сам был.

Мне посчастливилось вместе с Леонидом Ильичом Брежневым быть среди легендарных героев-малоземельцев, покрывших себя немеркнущей славой. 225 огненных дней и ночей сражалась героическая Малая земля, где плавился металл, горела земля, но советские

воины стояли насмерть, выполняя священный приказ партии — «Ни шагу назад!».

Одним из активных участников и руководителей битвы за Новороссийск был тогда начальник политотдела 18-й армии Л. И. Брежнев, сыгравший выдающуюся роль в битве за Кавказ. Его личное мужество, отвага и героизм, его пламенное большевистское слово вдохновляли бойцов на подвиг. Мы видели Л. И. Брежнева в самые тяжелые минуты и на самых трудных участках сражений. Воины 18-й армии считали Л. И. Брежнева «душой армии». И в самом деле, никто не умел так проникнуться радостью и болью другого, так быстро находить общий язык с людьми, как он. Нас всегда удивляло, как это он помнит почти каждого по фамилии, в лицо.

Как коммуниста-ленинца, подлинного политического организатора масс, Л. И. Брежнева отличало внимание к каждому человеку, уважение к достоинству личности, готовность помочь, поддержать, приободрить любого из нас. Поэтому он был любимцем солдат, матросов, командиров и политработников.

Операция по освобождению Новороссийска вошла яркой страницей в золотой фонд советской военной истории. Это была крупная совместная операция всех родов войск, в результате которой противник понес большие потери и был вынужден отступить. В боях за Новороссийск немеркнувшей славой покрыли себя герои легендарной Малой земли.

В те дни, когда бои достигли наибольшего накала, Военный совет 18-й армии в своей листовке к воинам Малой земли писал: «Военный совет гордится стойкими защитниками Малой земли нашей великой социалистической Родины и уверен, что этот рубеж будет для врага неприступным... Мы знаем, что маленькая земля станет большой и принесет освобождение от фашистского ига нашим родным отцам, матерям, женам и детям...». Автором этой листовки был начальник политотдела 18-й десантной армии полковник Л. И. Брежнев. Героические защитники Малой земли ответили Военному совету: «...Клянемся своими боевыми знаменами, именем наших жен и детей, именем нашей любимой Родины выстоять в схватках с врагом и превратить

Малую землю в большую могилу для гитлеровцев». Клятву свою они выполнили.

В апрельских боях 1943 года наши войска, находящиеся на Малой земле, уничтожили свыше 7000 солдат и офицеров противника, сбили до 50 самолетов, подбили 15 танков и бронемашин, вывели из строя 16 артиллерийских и минометных батарей. Командование 18-й армии перед своими войсками поставило задачу — во взаимодействии с Черноморским флотом овладеть городом Новороссийском и воссоединить разобщенные Цемесской бухтой части армии, развивать дальнейшее наступление на Верхнебаканскую и Анапу. По дерзости замысла, организованности действий и новизне тактических приемов Новороссийская десантная операция в сентябре 1943 года является одной из выдающихся в истории Отечественной войны. Штурм наших войск начался 10 сентября с трех сторон: со стороны Сухумского шоссе, с Малой земли и с моря. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. После боев только на территории порта и города было обезврежено и подорвано около 32 тысяч мин и фугасок. Пять суток длились ожесточенные бои за город. В 10 часов утра 16 сентября город и порт Новороссийск были освобождены, и Малая земля соединилась с Большой землей. Подсчитано, что на каждого защитника Малой земли приходилось 1250 килограммов смертоносного металла.

Взятие Новороссийска положило начало разгрому группировки противника, и нашими войсками 9 октября была завершена битва за Кавказ. 225 дней и ночей длилась героическая эпопея на Малой земле.

Л. И. Брежнев в своей книге «Малая земля» отмечает, что десант на Малую землю и бои на ней могут служить образцом военного искусства.

Малая земля сыграла большую роль в освобождении Новороссийска и Таманского полуострова и тем самым в героическом завершении битвы за Кавказ. Подвиги воинов 18-й десантной армии наглядно отразили всю отвагу и доблесть советских воинов и их преданность своей любимой Родине.

Воспоминания Л. И. Брежнева покорили меня своей достоверностью и задушевностью. В них все правда, самая настоящая правда войны, какую мы, ее участники, видели своими глазами, какой мы ее знали. Воспомина-



Л. И. Брежнев, О. К. Леселидзе и В. И. Зарелуа на встрече ветеранов Малой земли в сентябре 1974 года в Новороссийске.

ния написаны так просто, что, когда читаешь их, порой кажется, будто Леонид Ильич беседует именно с тобой как фронтовик с фронтовиком, душа в душу, побратски. Очень важно высказывание Леонида Ильича о стиле работы политработника. Главное для него — разъяснение и убеждение, хотя он так же, как и командир, наделен правом приказывать. Именно эти высокие человеческие качества преподает нам, советским людям, прежде всего сам Л. И. Брежнев — выдающийся партийный, государственный деятель нашего времени.

Леонид Ильич с огромным уважением говорит о командующем 18-й армией Константине Николаевиче Леселидзе. Он был, по определению товарища Леонида Ильича Брежнева, одним из талантливых полководцев, олицетворявшим лучшие черты советского человека. Суровый и беспощадный к врагам, добрый и мягкий к друзьям, человек чести, человек слова, человек острого ума, жизнелюбивый и храбрый — таким остался в памяти людей Константин Леселидзе. В этой характеристике, данной Леонидом Ильичом командарму Леселидзе, мне видятся главные черты, присущие многим и многим советским военачальникам.

Так удивительно верно и емко сумел выразить в своих воспоминаниях наши чувства Леонид Ильич. Насколько близок был он нам, настолько близки были мы ему — от простого солдата до командующего. Только при этом условии можно было спустя 35 лет воскресить в памяти не только события, но и ощущения, чувства, думы, чаяния защитников Малой земли.

«Наша победа — это высокий рубеж в истории человечества. Она показала величие нашей социалистической Родины, показала всемогущество коммунистических идей, дала изумительные образцы самоотверженности и героизма — все это доподлинно так. Но пусть будет мир, потому что он очень нужен советским людям, да и всем честным людям земли!». Так пишет Леонид Ильич. Лучше не скажешь, лучшей оценки событиям Великой Отечественной войны не дашь.

Д. КОВЕШНИКОВ,

Герой Советского Союза, генерал-лейтенант

В ПАМЯТИ НАРОДА — НАВЕЧНО!

Все участники Великой Отечественной войны и особенно ветераны 18-й армии находятся под огромным впечатлением и горячо благодарят Леонида Ильича Брежнева за его теплоту, сердечность и огромную человечность, выраженную в его воспоминаниях о героиче-

ческих делах наших однополчан на Малой земле и в боях в районе цементных заводов города-героя Новороссийска.

Мне как бывшему начальнику штаба 1339-го стрелкового полка 318-й Новороссийской стрелковой дивизии, а затем командиру этого полка особенно дорого то, что Леонид Ильич Брежнев в своих воспоминаниях через 35 лет повторил свою оценку героическим действиям нашего полка в оборонительных боях, при штурме Новороссийска и при форсировании Керченского пролива в районе поселка Эльтиген. Такая высокая оценка была дана им в суровые сентябрьские дни 1943 года, когда полк, высадившись в район цементного завода «Пролетарий», вел труднейший бой с превосходящими силами противника в качестве передового отряда 318-й Новороссийской стрелковой дивизии. Мы, оставшиеся в живых, бесконечно благодарны Леониду Ильичу за его человеколюбие, за его теплые слова, сказанные в адрес всех бойцов, командиров и политработников всех степеней, чей ратный труд суровых военных лет при всемерной поддержке тружеников тыла привел нашу любимую Родину к великой победе и тем самым создал условия для дальнейшего процветания первого в мире социалистического государства.

Особенно сильное впечатление на нас произвели сердечные воспоминания Леонида Ильича о славных делах нашего всеми любимого командарма генерал-полковника, Героя Советского Союза Константина Николаевича Леселидзе, о их горячей солдатской дружбе.

На долю нашего полка в тот период выпала тяжелая, но почетная задача. Одно ощущение, что мы остановили озверелого врага и обороняемся на самом левом фланге советско-германского фронта, стали фашистам поперек горла на этом важнейшем стратегическом направлении, придавало личному составу особые силы и энергию. В этих условиях бойцы были крепче всех заводских стен, гранитных гор и самого цемента.

Героизм и стойкость наших воинов в обороне приводили в звериную ярость противника.

Высадка десанта наших воинов в феврале 43-го года облегчила положение. По другую сторону Новороссийской бухты, т. е. левее нас, появилась героическая Ма-

лая земля. Но это не останавливало врага в его намерениях прорвать оборону вдоль дороги Новороссийск — Туапсе. Враг преследовал две цели: в случае осуществления его основной план продвижения на Кавказ и создадутся более благоприятные условия для уничтожения героических десантников на Малой земле. Потому командование армии продолжало уделять неослабное внимание укреплению нашей обороны и принимало все необходимые меры, чтобы оборона на нашем направлении по-прежнему была активной и устойчивой.

И вот, находясь под огромным впечатлением этих воспоминаний тех суровых героических дней, я прочел и книгу М. Д. Давиташвили о нашем любимом командаре Константине Николаевиче Леселидзе, о боевых делах воинов 18-й армии.

В книге М. Давиташвили «Леселидзе» впечатляюще раскрыты исторические условия, в которых родился, воспитывался и формировался крупный полководческий талант, а также весь боевой путь нашей армии, большую и труднейшую часть которого она прошла под непосредственным руководством любимого командарма Константина Николаевича Леселидзе, сохранив на вечную память все те ратные дела наших боевых товарищей, которые отдали за победу самое дорогое — свою жизнь. В ней исторически правдиво раскрыты события, в которых непосредственное участие принимал личный состав 1339-го стрелкового полка.

В десантных операциях при освобождении Новороссийска и при форсировании Керченского пролива личный состав 1339-го стрелкового полка опять имел трудную, но почетную задачу. В обоих случаях он шел в качестве передового отряда 318-й дивизии и в авангарде войск армии.

Как начальник штаба и командир этого полка с чувством огромной гордости вспоминаю беззаветную преданность и массовый героизм всего личного состава полка. Во время этих жесточайших сражений, даже в тот период, когда после тяжелых боев с превосходящим противником нашим голодным, легковооруженным бойцам предстояло прорвать кольцо блокады на Эльтигеновском плацдарме и выйти в тыл противника, у воинов была единственная цель — бить врага до последнего



Делегация трудящихся Грузии в 18-й армии. На снимке — члены делегации вместе с командованием армии. Слева направо сидят: Г. Леонидзе, С. Колонин, М. Барамия, К. Леселидзе, Г. Кирвалидзе; стоят: Д. Дубровин, А. Дочвери, У. Джапаридзе, С. Чиковани, В. Зарелуа, А. Хорава, Л. Брежнев. 1943 г.

вздоха и тем самым приблизить день окончательной победы.

Героизм наших воинов был оценен по достоинству. В полку было 24 Героя Советского Союза, много сотен бойцов и командиров награждено орденами и медалями нашей Родины.

Все это результат огромной партийно-политической работы, которую проводили лично Леонид Ильич Брежнев и Константин Николаевич Леселидзе и под их непосредственным руководством командиры и политработники нашей армии на всех этапах боевых действий. Подвиги наших воинов, о которых рассказал в своих воспоминаниях «Малая земля» Л. И. Брежнев, — великолепный исторический памятник всем воинам 18-й армии. Дела их навечно сохранятся в памяти нашего народа.

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ — СИМВОЛ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА

Книга воспоминаний Л. И. Брежнева «Малая земля» — яркое, глубоко волнующее, исторически достоверное произведение. Это произведение дошло до сердца каждого советского человека, независимо от того, является ли он участником описываемых событий или принадлежит к поколению, вообще не знавшему войны. Просто, во всем величии воскрешается подвиг советского народа, перенесшего на своих плечах тяжесть кровопролитной войны.

В воспоминаниях «Малая земля» — все мысли, чаяния, чувства нашего народа, ведь речь идет об очень конкретных вещах и самых непосредственных явлениях войны.

В этом произведении подчеркнута большая роль командиров, партийных и комсомольских организаций, политработников, которые вели огромную разностороннюю политическую работу для того, чтобы добиться выполнения, казалось бы, невыполнимых задач. В книге «Малая земля» Л. И. Брежнев выступает как тончайший психолог человеческих душ, раскрывая величие той большой идеологической работы, которую проводили командиры и политработники.

События, которые описывает Л. И. Брежнев в своей книге воспоминаний «Малая земля», проходили буквально на моих глазах. Весь 1943 год я находился в войсках 18-й армии как корреспондент газеты «Вперед, за Родину!» (Черноморской группы Закавказского, а затем Северо-Кавказского фронта). Газета сочла необходимым иметь там своего постоянного корреспондента, поскольку, во-первых, 18-я армия находилась на решающем участке фронта, во-вторых, в ее рядах сражалось много воинов-грузин, а я работал в редакции газеты, которая выходила на грузинском языке.

«Малая земля» — это блестящий образец военно-мемуарной литературы.

Л. И. Брежнев с высоким мастерством мемуариста показал, что в сложных условиях боя и один воин может решить его исход, поднимая за собой людей.

Он видит в партийном работнике не только душу воинского коллектива, но и личность военачальника, по которому десятки и сотни людей сверяют свои дела, а хорошо продуманный план партийно-политической работы, затем проведенный в жизнь на высоком идейном и организационном уровне, в конечном итоге гарантирует успех.

Образцом такого политработника являлся сам Л. И. Брежнев.

В книге «Малая земля» Л. И. Брежнев показал, какой здоровый морально-психологический климат царил во всей нашей армии. Он сам всем своим поведением способствовал созданию такого боевого настроения в армии. Своим спокойствием, простотой, доступностью для каждого воина и умением расположить человека к себе, открыть душу и дать отеческий совет каждому, кто с ним соприкасался.

Символически называя книгу «Малая земля», он раскрывает в ней боевой путь и традиции не только частей и соединений, которые сражались на Малой земле, но и освещает боевую деятельность наших войск в битве за Новороссийск, за Таманский полуостров, переносит события на Украину, в Белоруссию, показывает освободительную борьбу наших войск в странах Восточной и Юго-Восточной Европы — вплоть до завершающего этапа войны.

Л. И. Брежнев высоко поднял роль и значение последнего аккорда битвы за Кавказ и этим самым сделал огромное дело по освещению одного из важнейших событий в Великой Отечественной войне.

Сегодня, когда вся наша страна, мир социализма и все прогрессивное человечество борются за предотвращение угрозы третьей мировой войны, советские люди особенно отчетливо осознают огромное значение нашей победы в Великой Отечественной войне. Пусть она всегда будет грозным предупреждением тем, кто еще мечтает о реванше, кто мечтает перекроить карту мира.

Думы о знаменах

Над Ушбой и над Шхарой
 «Лем»¹, предводитель старый,
 Шумит, зовет к отваге.
 Что, правнуки, ответим?
 И за тысячелетьем
 Святые
 Плещут стяги.
 Вдали — расцветки пашен
 И луговин мерцанье...
 Меч красным я окрашу,
 Спою — хоругвь украшу
 Литыми бубенцами.
 А ныне наше знамя
 В твой цвет оделось, пламя...
 Герб — с кистью винограда...
 Склонись — к грузинским кушам,
 Поведай о грядущем,
 Святыня и отрада!
 Ведь мы — родня по крови,
 Так цветом утра брызни,
 Скажи свое присловье —
 Благою весть отчизне!
 Пусть будущего чудо,
 Растущее из дыма,
 Не узнано покуда —
 Оно уже любимо.
 Ведь мы — родня по крови,
 Так цветом утра брызни,
 Скажи свое присловье —
 Благою весть отчизне!

Упавшая звезда

Я счастливой звезде
 Верю с детства. Моя — не чужая —
 Льется кровь только там,
 Где свою проливает народ.
 Только помню: есть поле,
 С которого жду урожая,
 Жну...
 Свободна душа
 И счастливой звезды не зовет.

¹ Лем — знамя средневековой Грузии (на сванском диалекте).

Лишь одно я скажу
В час, когда в глубину небосвода
Эта блестка скользнет,
Перекатится, сгинет во мгле:
Завещаю одно —
С чем боролся всю жизнь, год от года.
Вы меня не вините
В измене родимой Земле.

* * *

Что я люблю? Как мне сказать
Без промедленья, без обмана...
Моя ль вина, что благодать
Неузнанная — безымянна!
Промчались в небе ястреба,
Ты причастился к их полету...
Мне в одиночестве раба
Лить слезы, видно, не судьба,
И солнце славить — не в охоту.
Кого* люблю?..
Речь коротка,
Когда всем сердцем вдохновленным
Люблю вот эти облака,
Идущие над Таригоном.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

Равнодушие

Тебя не тронул шум земной—
Весны работа,
Не слепота тому виной —
Другое что-то.

Пруд не пугает глубиной —
Стакан с водою,
Не слепота тому виной —
Совсем другое.

Друзья проходят стороной —
А ты спокоен,
Не слепота тому виной —
Совсем другое.

До камня зелень выжег зной
В начале лета —
Не слепота тому виной.
Так что же это?

Ты равнодушен, милый мой,
Сам это знаешь.
Своей наполнен пустотой
И все теряешь.

Перевод Наталии ОРЛОВОЙ

ВЕТЕР, КОТОРОМУ НЕТ ИМЕНИ

● Роман

И неожиданно собаки перестали рычать, заскулили приветливо, прерывая ласковый скулеж угрожающим рычанием, словно сообщали кому-то, что он здесь и они ждут приказа — кончить его, неизвестного пришельца.

Нико предрешил свою участь и, предрешив, услышал человеческий голос.

— Ты кто?

— Это я... — промямлил он, не поднимая головы.

— Кто это ты?!

— Гость....

— А-аа... Что с тобой случилось?

— Ничего... собаки...

— А-аа, — он усмехнулся, — вставай, не бойся!..

Нико встал. Страшного в самом деле ничего не было, собаки покорно сидели на задних лапах, смотрели на вновь прибывшего. Тот попросил гостя войти в дом. Вошли. В комнате было темнее, чем во дворе. Во дворе Нико не удалось разглядеть лица своего спасителя, не позволил страх, в комнате тем

Окончание. Начало в № 4.

более не разобрать, кто он и как выглядит, кто бы ни был, его следовало поблагодарить.

— Не стоит благодарности, — небрежно ответил спаситель, — ты мне скажи, верить ли словам Леко?

— Ни единому слову, ради бога, ни единому слову! — взмолился путешественник.

— Ни единому?

— Нет! Ради бога, хоть вы поверьте, не знаю, кто вы, но раз спрашиваете, должен вам сообщить, что я каким-то странным образом запутался, меня приняли за кого-то или просто растерялись и приписали мне нечто для меня непонятное и странное, — гость выпалил это одним духом, торопливо и, так же торопясь, продолжал: — Намерение мое обыкновенно, во всяком случае для музыканта, мне захотелось собрать народные песни, и, видно, захотелось не вовремя, это мне хорошо объяснил Элизбар Хетәрели, об этом говорил мне и Георгий Канчавели, мой учитель. Я ученик Георгия Канчавели. Можете спросить, он вам объяснит.... Не знаю, о чем говорит Леко Таташели, или что показалось другим, или что происходит, или что произойдет, ничего не знаю, я занимаюсь только музыкой, песней, мелодией, только... подождите!

Незнакомец распахнул двери. Он за ним:

— Подождите! Ведь кто-то мне должен поверить?! Я должен знать, вы мне верите или не верите...

— Верю, — донеслось с лестницы, — хватит!..

Залаяли собаки, и он быстро вернулся в комнату. С ним вернулся страх, как бы собаки и сюда не ворвались. Потом до него дошло, что не ворвутся, но и во двор его не выпустят, впрочем к черту-дьяволу двор. Во двор он и шагу не ступит. И не ступил, и не успокоился, блуждал по маленькой комнате, бурчал под нос, затеял спор с Леко Таташели, несколько раз обвинил его, несколько раз заставил принести извинения, поклясться, что утром отправятся к Итриели, и только после этого прилег успокоенный, словно Леко Таташели в самом деле извинился, словно впрямь обещал завтра же отправиться к Итриели. Во всяком случае, он еще раз мысленно воспроизвел несбыточный спор, и если утром он все же произойдет, Леко будет не под силу ему возразить... С этой надеждой он спозаранку вскочил с постели, вскочил и бросился в комнату Леко, ожидая резких возражений, приготовив резкие слова. Тщетными оказались приготовления. Таташели спал глубоким сном, спал сладко, безмятежно, как человек, у которого никогда ничего не болело, ничего не терялось и не потеряется, который не испытывал дурного обращения и никогда не испытает, никого не обижал и никем обижаем не был, всю жизнь пребывал в неге и в вечном блаженстве, пребывал и пребудет во веки веков; хотя, кто знает, как именно спит такой человек, никто такого человека не видел, никто о таком не говорил, никто такого не рисовал и не было такого, нет, наверняка, не было и не будет, и сна не будет такого, но этот сон походил на таковой, и если существует на свете такой сон, он именно так и выглядит. И дрогнул Нико, не мудрено — противостоишь ли такому спокойствию?! Дрогнул Нико и на цыпочках повернул обратно; у дверей он огля-

нулся и остановился как вкопанный: глаза у Лeko были открыты. Он смотрел куда-то поверх вещей, в никуда, и как будто баюкал свои мысли, сладкие мысли, вольные, блаженные. В таком состоянии никого не хотят видеть, хотя бы родного человека, чтобы продлить дурман, наслаждение, вызванное блаженными мыслями: да, никого не хотят видеть, но путешественник не вышел из комнаты, вернулся, присел неподалеку и обратился к нему со следующими словами:

— Милостивый государь мой, простите, я несколько разволновался, виноват, вы тоже, говоря по правде, виновны в моей взволнованности, однако мне не следовало вас будить, следовало подождать. Надеюсь, простите! Теперь, почему я зашел... Забудем все... Не знаю, как это отразится в дальнейшем, какой след оставит во мне, но как бы то ни было, сейчас необходимо спокойно все обсудить. Рассуждения навели меня на мысль, что я должен строго-настроено просить вас, милостивый государь мой, прекратить это бесцельное хождение, просить вас выполнить, что вам поручили и на что дали согласие, дали слово порядочного человека, но, если вы будете продолжать упрямиться, я буду вынужден покинуть вас и уйти. Это решено.

Никакого ответа... То же спокойное лицо, спокойное, безмятежное, те же глаза, исполненные скрытого блаженства. Нико вдруг испугался — не умер ли, не с покойником ли он говорит?! Но недавно Лeko сомкнул веки, сейчас глаза его открыты, он дышит, дышит ровно, нет, он не покойник, но он и не слушает, он издевается над ним?!

— Возмутительно! — сказал Нико, обращаясь к самому себе приглушенным голосом, потом повторил громче: нет и нет, не шелохнулся Лeko Таташели, только едва заметная тень недовольства легла на его лицо, едва заметная тень, легла и исчезла.

— Вам не нравятся мои слова?! — спросил Нико — Вижу, не понравились, так легко от меня не отвяжетесь, нашли во мне нечто для себя полезное, для своего развлечения. Распускаете обо мне слухи, хвастаетесь, развлекаетесь. Я не догадывался прежде, вы воспользовались моим доверием. Это не есть... это не есть, так сказать... Или вовсе не скажу, какая нужда, ясно! Скажу только, что не доверяю вам более и вы более не сумеете пользоваться мной. Бессмысленно притворяться мертвым. Вставайте, идемте или я пойду один, — сказал он и замолчал в ожидании ответа.

Лeko молчал. Медленно сузились его глаза, и сомкнулись веки.

— Так вашего согласия я ждать не стану, — рассердился путник или на этот раз человек, идущий своим путем, — из уважения к Элизбару я до сих пор колебался, до свидания! — он все это высказал тоном крайне рассерженного человека и вышел.

Выйти-то он вышел, да скажите на милость, сразу ли пустился в путь? До балкона хватило ему запала, на балконе он сник, решимость уступила место страху, страху перед собаками, хотя и голоса их не доносилось. Все равно он больше не ошибется, он уже ученый. Не так ли было накануне вечером —

только он спустился с лестницы, откуда ни возьмись вылезли собаки, одна, вторая, третья, целая свора, нет, он не желал повторения ужаса канунного вечера, но ведь и ждать не мог, коль скоро попрощался?! Леко и виду не подал, думал, наверное, зря ерепенится, нету ему без меня пути... Вот она беспомощность, она и ничто другое, именно в таком положении испытывали горечь беспомощности, страх — горечь иного свойства, беспомощность — иного, и беспомощность он испытал и страх. И то, и другое перечувствовал и понял, что опустошен, что не может больше ни злиться, ни радоваться, ни предпринять что-либо, выветрилась воля, помутилось в глазах, показалось, будто собаки сидят в винограднике, не виноградные гроздья, а собаки притаились среди стеблей и отливают синим цветом.

Он невольно присел на корточки, подался вперед, видно, вернулся испытанный накануне страх, он же заставил его вскочить, завел в комнату... Жаль его было, достоин он был жалости, но, увы, никому не было до него дела и неоткуда было ждать помощи. Служанка доложила, что завтрак готов — вот вам и помощь и выход из безвыходного положения, и мост отсюда проложится, мост через пропасть на дорогу — что за дорогу или какую дорогу — он выяснит, точнее ему объяснит Гурандухт. Однако Гурандухт на завтраке не присутствовала, не появилась она и позднее, не присутствовали и остальные, не присутствовали, и не появился никто, кроме Гулкан, она его встретила (не бросила-таки одного), она хозяйничала, подавала, ничем не обделила. А он ни к чему не прирагивался, сидел и ждал, но чего?

...Они сидели за маленьким столом на маленьком балконе, увитом виноградной лозой, налитые гроздья свисали с лозы. Стол накрыли на двоих, принесли два прибора, чайный сервиз на двоих и множество настоек: вишневую, розовую, мятную, тархунную.

— Какая вам больше по душе, — предлагала Гулкан. — Утром настойка полезна, тем более после вчерашнего ужина, впрочем вы вчера и не пили особенно, все равно хороша настойка утром, берите пример с меня, — и она отпила тархунную настойку с поразительной нежностью, с редкостной застенчивостью. Ей больше было к лицу проглотить настойку вместе с рюмкой, вскочить на стол, переворочить все, одно выбросить, другое отправить в рот, в таком случае не испытывал бы чувства неловкости этот съездившийся гость, который ждал других, а находился наедине с Гулкан и в конце концов покорился своей участи, как покорился Бардзим Зедахевели. Сквозь приоткрытую дверь комнаты от пола до потолка виднелся портрет дюжего молодца, писанный масляными красками «на фоне света» — так велела живописцу Гулкан. «Он в сердце живет моем, — сказала она, — и вечным светом пусть озарит его облик художник». Покорился своей участи Бардзим, высылся в комнате Гулкан и с просветленным лицом встречал гостей Арджевнэли. Наверное, и он не хотел покоряться, наверное не хотел, но иной была воля Гулкан. И этот не хотел, не хотел, ха, и пускай себе, иной была воля Гулкан, а человек беспомощный, говорится, у всех в плену.

Он все же стремился сагстись от плена, попытка не удалась, отпил тархунной настойки и вдруг заявил, что должен уходить.

— Госпожа, моя мать, изволила сказать, — заметила Гулкан, — Леко, наверное, два дня и две ночи непрерывно будет спать.

— Два дня и две ночи?! — глаза у гостя расширились.

— Госпожа, моя мать, изволила сказать — от Леко следует ждать этого, раз он так долго не проснулся.

— Что же мне делать?!

— Ждать.

— Я вас беспокою... — он ничего другого не смог придумать.

— Госпожа, моя мать, изволит говорить — гость от бога, — успокоила его Гулкан, пододвинула масленку и вазу с медом, спросила, желает ли он чаю с молоком или без молока, с сахаром или без сахара, но пока предложила отведагь другие настойки, если понравилась тархунная, повторить тархунную.

— Благодарю...

— Госпожа, моя мать, изволит говорить, если гость ничего не ест — он недоволен хозяевами...

— О нет, что вы, я так благодарен... особенно после вчерашнего, так неудобно... неловко.

— Госпожа, моя мать, изволит говорить, вспоминать о случившейся неловкости дважды неловко. — Она наполнила ему стакан. — Пейте, не желаете ли сыру... Овечий...

— Благодарю.

— Об этом я уже вам сказала.

— Да, да, но мне так необходимо уйти.

— Об этом я тоже вам сказала... угощайтесь!

И сама угощалась на славу. Ела и пила, как говорится, от души, гостя заразил бы ее аппетит, куда более застенчивого человека заразил бы несомненно, когда бы не тошнотворный ее облик. Губы у Гулкан выпятились, обнажив большие, острые зубы, крошки от пицци сыпались на пол, крошки — пустое, пережеванные куски падали, когда она заговаривала, она ловила их на лету, отправляла обратно в рот, они снова падали, и снова она отправляла их обратно, налипали крошки на губы, она поспешно отирала губы тыльной стороной ладони, пачкала щеки. Гость накануне столького не заметил. Он сидел рядом, или смотрел в свою тарелку, или в сторону комнаты девушек: к завтраку они не вышли, не вышли и к обеду; и к ужину; Гулкан стала его сотрапезницей, собеседницей, предложила, если он желает, показать ему деревню, сыграть в шахматы, разложила карты, повела к роялю, сказала, что любит музыку, заставила сыграть, похвалила: «Я никогда не затоскую, слушая такую хорошую музыку». Он играл. Так было лучше. Лучше было играть, чем сидеть против нее за столом, гулять с ней по деревне или уединяться в роще, лучше было играть, и он играл, в глубине души надеясь, что и другие выйдут. «Неужели среди стольких

женщин никто, кроме этой, не любит музыки, или неужели они обладают слишком утонченным слухом и мое музицирование им не нравится?». Многим нравилось его исполнение, многим, не говоря уж ни о ком другом, нравилось Георгию Канча вели. С чего же это местные дамы и девушки не появляются. И он играл, так ему было лучше, и завершился день, один день, наконец-то, кое-как иссяк, умер, какая же сила могла убить день второй, если только двумя днями и двумя ночами удовлетворился бы Леко Таташели, кто знает, может, он пожелает отдохнуть еще пару суток!

— Госпожа, моя мать, изволила сказать, Леко бывало отдыхал три дня и три ночи, — успокоила гостя Гулкан.

Гостю нечего было сказать, смирился, только попросил, хотя бы днем не выпускать собак. Гулкан обещала: «Днем? Будь по вашему»...

XII

Обещала и исполнила, исполнила и то, о чем гость не просил, во всяком случае, вслух и не говорил, а именно, что неприятно ему завтракать, обедать или ужинать наедине с нею. Наутро Никушу не пригласили, принесли завтрак в комнату, оставили одного, тогда одиночество оказалось невыносимым. Кому было пожаловаться? По-прежнему блаженно покоился на своем ложе Леко Таташели, по-прежнему затаил дыхание виноградник, ореховые деревья опустили ветви, заслонили небо — из окна виднелись ореховые деревья и край виноградника — ничего больше. Впрочем нет, однажды по двору прошествовал павлин; гость мечтал еще раз его увидеть, но тщетно, павлин не показывался, и его мысли вновь обратились к Леко; когда же он проснется наконец, заходить к нему он не стал, не мог, подумал, что тот опять уставится на него своим невидящим взглядом; что спящий с открытыми глазами, что покойник, которому глаз еще не закрыли, — все одно, и мысли о Леко улетучились; помечтал он о встрече с какой-нибудь из тех девушек, но помечтал нерешительно, а если когда-либо исполнялась мечта, то исполнялась лишь мечта решительная, решительная, смелая, упорная. Нерешительная мечта всегда развеется по ветру. Однажды дятел застучал по стволу орехового дерева, это могло развлечь, навеять мелодию или поведать о птичьих думах, но постучал дятел и смолк, не понравилось дуло, наверное, или птица кого-то заметила, верно, заметила, дятел не любит, когда за ним наблюдают. Однажды сорвался с ветки орех и упал на землю; нет, не однажды, несколько раз падали орехи, падали червивые плоды с засохшей кожурой; а этот один он почему-то принял за здоровый, хотел принять и принял, спустился вниз, стал искать, искал, искал, нашел, раздал — червивый, с засохшей кожурой.

...Треск червивого плода раздался и тогда, когда пришли и сообщили, что его просит госпожа Гулкан: какая сила могла заставить его помедлить. Она не дала ему говорить, поздоро-

валась, как бы напомнила, что сам он позабыл поздороваться, затем пригласила в комнату Бардзима, предложила Сесть, пододвинула кресло, уселась поблизости. В комнате ждал их еще кто-то, тоже молодой, одних, верно, лет с Нико, только что выше ростом, мощный, сильный, тугие мышцы вырисовывались из-под черной рубахи, широкие плечи, казалось, вот-вот разорвут ткань, ноги расставлены вширь, огромные ноги; лицо у него было плоское, загорелое, слегка лоснящееся, крупный нос, густые сросшиеся брови, жгучий взгляд... Гость потому так внимательно его разглядывал, что сначала и его принял за переодетого (хотя, надо сказать, сам он был уже одет как приличествует — при своем черном банте), кто знает, думал Никуша, может, и этот вроде меня приехал не ко времени, может, и он вроде меня музыкант, или поэт, или художник, или что-нибудь в этом роде. Впрочем, он не сумел разобраться, что это за «в этом роде», и тут догадался, что незнакомец не из Тбилиси, а скорее всего местный, крестьянин.

Так оно и было — он был местный, но не из Арджевани. Нико, замечу, не думал, что незнакомец непременно должен быть арджеванцем; он решил, что этот огромный мужчина — крестьянин, так оно и было. Звали его Шакро Дискаришвили, его прислал Элизбар Хетэрели. Когда гость узнал об этом, он позабыл и о Леко, и о Гулкан, и обо всех своих злоключениях и мытарствах. Вскочил, обеими руками пожал ему руку, потряхнул с силой, потом съежился, уставился в глаза хетэревскому посланцу — так, смотрят на избавителя. Тот медлил, молчал, ждал, пока заговорят они. Гулкан тоже не спешила, пригласила гостя в комнату Бардзима, оглядела ее внимательно, взглянула на картину и оружие героя своего сердца — ружья, пистолеты, сабли, на его одежду — чохи, куладжи, бурки, европейские костюмы, чучела его гончих, которые стояли в каждом углу, и шкуры убитых им медведей, расстеленные на полу, рога убитых оленей, прибитые к стенам, на этих рогах и висело оружие и одежда — словом было на что посмотреть, стоило. Оглянулась — не заинтересовался ли гость? Уверена была — заинтересуется, спросит, внимательно выслушает ответ, неужели ничего его не заинтересовало?! Чудно, пусть не интересуется, пусть не задает вопросов, она в свою очередь, не станет рассказывать, как нелепо, зазря, погиб Бардзим Зедахевели, какое будущее его ожидало, как обожали его все, кто видел хотя бы раз, как он умел любить, как доверилась ему Гулкан, как они обручились, как должны были справить свадьбу. И именно в день перед свадьбой... Боже мой, вот он — рок! Не станет рассказывать, ясно: не хочет гость — она не расскажет, но в душе повторяет все это, пусть гость ждет. Лучше было спросить и выслушать, куда более невыносимо сидеть молча, но что он мог поделать, когда не догадался, чего желает Гулкан, не понимал, почему она молчит.

— Докладывай! — прошептала наконец Гулкан.

— Поручил мне Элизбар Хетэрели передать, — спокойно начал Шакро, снял войлочную шапку, скрутил, скомкал в руке. — Не оправдал надежд Леко, плохо сопровождал гостя, до сих пор не привел его к Итриели. Я понимаю, велел пере-

дать Элизбар, вам и здесь хорошо, но как уговорились, так и должно быть. Не медли и не колеблись, как только придет, ступай за ним. Так он мне поручил, Элизбар Хетэрели, я и пришел, — сказал Шакро, поднялся, как бы собираясь уйти и предлагая последовать за ним.

Гулкан движением руки велела ему сесть.

— Госпожа, моя мать, изволила передать, — начала Гулкан, — вы желанный гость, но мы не пойдем против воли Элизбара. Ему видней. Мы с ним согласны и желаем встретиться с вами вновь. Мы благодарны, что познакомились с вами, по воле провидения или случая. Остаемся почитателями вашими.

— Благодарю, — искренне произнес гость, — я также очень рад знакомству, беседам с вами, в мою душу глубоко запали и никогда не изгладятся приятные дни, проведенные в вашем доме, мне хотелось бы и впредь с вами встречаться. Благодарность моя безгранична, безгранично мое уважение к вам ко всем и особенно к госпоже Гурандухт, — он почтительно склонил голову.

— Госпожа, моя мать, просит, — продолжала Гулкан, — в память этих дней принять от нас этот маленький дар, — она подняла подушку и взяла кинжал, — кинжал этот, правда, не оправлен ни золотом, ни серебром, у него костяные ножны, но кость разукрашена с редким искусством; среди прочего на ней изображена лира и какие-то знаки. Возможно, это древние нотные знаки, — заключила она и протянула кинжал.

— О, благодарю! Благодарю! — вскочил на ноги гость. взял кинжал, пристально начал его разглядывать, от волнения ничего не увидел. — Какая неожиданность, какая вещь... Благодарю, о, премного благодарен! Вы очень меня обязали, не знаю, право, чем отплатить.

— Госпожа, моя мать, изволит говорить — подарок на память свят и разговор о плате — поруганье святыни.

— Простите.

— Госпожа, моя мать, изволит говорить — извинения неуместны, когда получаешь подарок.

И поднялась Гулкан, выпрямилась, протянула руку в знак прощания (ту руку, к которой он уже прикладывался и его не стошнило, а сейчас даже уродливой ему не показалась). Музыкант нагнулся, поцеловал. Поднялся и Шакро, прощанье закончилось, пора было отправляться в путь, и они собрались, когда снизу из сводчатого зала донесся гул. Станный голос издавал сводчатый зал, странно гудел. Гул ворвался в комнату или музей Бардзима Зедахевели. Кого бы он не заставил растеряться, но Гулкан догадалась, что гул этот вызвал Леко, только Леко и никто другой. Никого другого и не было, долго он себя ждать не заставил, мигом возник перед ними.

— Что здесь происходит?! — строгим голосом спросил Леко.

— То, что должно произойти, — спокойно ответила Гулкан.

— Если меня зовут Леко Таташели...

— Знаем. Госпожа, моя мать, изволила говорить...

— Не повредит, если напомню лишний раз.
— Однако, если бы вы вздумали заснуть вечным сном,
мы не смогли бы последовать за вами.

— Сейчас я здесь.
— Извольте сесть!

Предложения этого не требовалось, он уже оглядывался в поисках места, куда бы сесть, кресло стояло между чучелами собак, низкое, орехового дерева, резное. Он сел в кресло и оперся руками о чучела.

— Изволил сесть... — слова его прозвучали как угроза, требование немедленно доложить о решениях, принятых без его участия.

— Сиди, — сухо бросила Гулкан, — мы уже попрощались.

— Вы нас гоните?! Кто осмелится так поступить с Леко Таташели?!

— Никто... Леко Таташели — это Леко Таташели, и его терпели Арджевнэли. Гость от бога — изволит говорить господа, моя мать.

— Дай бог вам здоровья! Я человек божий, и вы должны обращаться со мной как с божеством.

— Божеству один раз принесешь в жертву виноградник, и оно смилостивится, а сколько дней мы с тобой возимся?

— Попрекаете?!

— Нет! Постой... как тебе угодно, только он уходит.

— И я ухожу, ухожу обиженный, и отныне ноги моей не будет в вашем доме.

— Не удивлюсь, неблагодарность свойственна людям.

— Ради бога! Ради бога!.. — вмешался гость, почти умоляюще обратился к Леко. — Я так доволен, не огорчайте!..

— Приручили, а?! — Леко поморщился. — Так бывает, достаточно мне вздремнуть на часок, тотчас всех моих друзей к себе переманивают. Что поделаешь, вы правы, такова уж моя участь. Кто отвратит от меня превратную судьбу? Ничего не поделаешь! Молодой человек, вас переманили, но на мне лежит обязанность и...

— Ты свободен от этой обязанности.

— А это кто?! — удивился Леко.

— Я, — подался вперед Шакро.

— Я тебя не знаю...


— Я тебя знаю...

— Ха... ха... Кто же не знает Леко Таташели!

— Вот я тебя и знаю, познакомься и ты со мной, зовут меня Шакро Цискаришвили. Прислал меня Элизбар Хетэре-ли, поручил поскорее привести гостя к Итриели.

— Чьего гостя?! — Леко резко подался вперед, но руки его по-прежнему лежали на чучелах. — И гостя у меня оспариваете?! Какое имеете право оспаривать?! Кто оспаривает?! Он и двух дней у себя в доме его не оставил, я десять домов с ним обошел и еще тысячу обойду.

— Благодарю! — вырвалось в страхе у гостя: «упаси господи». — Глубоко благодарен! — сказал он вслух, и руки у него задрожали.



Тут мягкая улыбка появилась на лице Гулкан, насколько могла появиться мягкая улыбка на ее лице: она приблизилась к Леко, положила руку ему на плечо, обратилась ласково, нежно. Великое, оказывается, дело ласка, змею из норы изгонит сладкоречивый, сказано, изгнала она Леко из норы злобы, смягчила, успокоила, подбодрила. Впрочем, скорее подбодрил его стол. Накрытый стол встретил их на балконе. Гулкан взяла его под руку и вывела на балкон, одной ласки без стола недостаточно, недостаточно было ласки без вина, либо рубинового цвета, либо совершенно белого — прозрачного — темно-красное или черное не годилось летом. Об этом думала Гулкан, обязанность хозяйки заставляла ее думать, нето для Леко было все одно, одинаково откусал бы, одинаково попиравал. Сперва она все же предложила тархунную настойку. Конечно, всем предложила, но не очень настаивала, и те не отнекивались, догадались, да и какая особая догадливость требовалась, чтобы понять: сейчас только Леко надо обласкасть, только от Леко надо отвязаться, отвязаться спокойно, без шума, без волнений. И при первом же приглашении уселись они за стол, чтобы унять, ублажить Леко. Он унялся быстро, стал смеяться, завертел указательным пальцем возле подмышек Гулкан, берегитесь, мол, меня. Черт с тобой, засмеялась в свою очередь Гулкан. Напомнила о прежних годах, празднествах, пирах, театре Хетэрели. Однажды зимой, когда они все там собрались, Леко исполнял роль героя. А Гулкан, совсем еще ребенок, суфлировала. Много отличных актеров выявилось той зимой, иные потом ушли на профессиональную сцену, Леко был не хуже. «Не хуже, а много лучше», — поправил Леко, — только он, Леко, уже сказал свое слово на сцене. Гулкан согласилась. В этом направлении шла беседа или таков был ее настрой, не в обычае Леко было упорствовать. Где лучше посторониться, посторонится, не станет артачиться, но, видно, в этот раз он решил, что без труда настоит на своем, ни в какую не уступил, когда Гулкан предложила благословить гостю дорогу, более того, поднялся, когда встал Шахро, провозгласил тост за остающихся и посмотрел на гостя.

— Садись! — приказал Леко.

— Нам пора, — заметил Шахро как ни в чем не бывало.

— Пойдем вместе, — объявил Леко, — и ты с нами будешь, вместе продолжим путешествие, для нас лишних нет, наоборот, чем нас больше, тем оно лучше. Разве нет? — он взглянул на гостя.

— Уважаемый Леко...

— Разумеется... Знаю... об этом ни слова, — он поднес палец к губам, — ничего я не говорю, а если и намеком не обмолвиться, кому и что мы сумеем объяснить?! Добро, добро, хотите прикажу? Умеет приказывать Леко Таташели — останешься с нами! — прикрикнул он на Шахро и стукнул кулаком по столу — приказ нельзя нарушать.

— Ну... нет, — невозмутимо мотнул головой Шахро, — хоть приказывай, хоть умоляй, все одно, все одно, не могу остаться, ничего не подаешь... И его оставить не могу, должен отве-

сти к Итриели и вернуться сюда. Тем оно пахнет, что... так оно!

— То есть как, Леко Таташели учить вздумай, ^{вздуй!} ~~вздуй!~~
Они двинулись было к выходу, но Леко преградил ^{путь!} ~~путь!~~
«шагу не ступите без моей на то воли, еще не родился на свете мой повелитель, и мне неподвластный не родился!», — он заупрямился пуще прежнего, выпучил глаза, расстегнул ворот рубахи, сжал руки в кулаки. Гулкан пожалела, что обласкала его и выпить дала, какой толк, если ничего не изменилось. Нежданно-негаданно в руках у нее появилась веревка, появилась у нее в руках веревка, и она бросила ее Шакро Цискаришвили, приказала связать Леко. Шакро пожал плечами, обернулся к Леко:

«Я здесь ни при чем, или уступишь дорогу или придется тебя в самом деле связать». «Ха... ха... ха... Запросто же ты решил от меня избавиться, — Леко внезапно схватил обоих, отшвырнул к столу, — садитесь, приказываю, иначе...». «Ну что с тобой поделаешь, — усмехнулся Шакро, — ты на своем стоишь, я от своего не могу отказаться, ну что с тобой поделаешь, даже если очень обидишься; так вот, если даже очень обидишься... — и он схватил его неторопливо, невозмутимо, с улыбкой, ласково, схватил и вывернул ему руки. Потом все произошло внезапно, мгновенно, когда опомнился Леко, он был крепко-накрепко привязан к балконному столбу. Извивался, огрызался, скрежетал зубами, пытался вырваться, но и на это хватило его лишь на миг, на тот миг, в который его привязывали. Потом, когда он понял, что с ним произошло, рванулся, стараясь высвободиться, рванулся: веревка врезалась в плечи и ребра, слезы навернулись Леко на глаза: смех его одолел, он смеялся, и слезы лились из глаз. «Ну и ну, разве же это шутка, где слыхано шутить подобные шутки... Хе... хе... хе... шутка она, шутка и есть, — Леко старался опустышить происшедшее, — на шутки не обижаются, кто на шутку обидится, человеком назвать нельзя, шутка — человечье свойство... Кто шутит, тот и человек. Понял, нечего качать головой, если понял, подойди и развяжи. Шутить тоже нельзя до бесконечности. Подойди, ну-ка! Гулкан, что же ты, сестрица моя, молчишь, вели ему! Ты ведь знаешь, как я тебя люблю. У меня-то сестры не было, но вот, когда на тебя смотрю, и не сожалею, что не было у меня сестры, так я тебя люблю. Ради тебя сюда прихожу, не то эта скуластая Елена или кадыкастая Назиброла не очень-то мне по сердцу. Ты — добро одно, ангельская твоя душа, ничего, кроме добра не таится в душе твоей. Мне так кажется, дай бог тебе долгих лет жизни, но когда душа твоя покинет тело, через сто лет, через тысячи лет, когда душа твоя покинет тело, ангелы прямо на небеса ее вознесут.

Так говорю я, Леко Таташели, и все сказанное мной оправдывается. Сердце мое, сердечко, сестрица моя. Прикажи ему Прикажи, прошу тебя! Одну руку, что одна рука, хотя бы одну руку высвободи, не могу я так! Сердце мое, сердечко, сестрица моя!» — умолял Леко Таташели, стараясь разжалобить Гулкан. Освободи ему руку, он и шею скривит в мольбе и на колени падет и пошло... и пошло все сначала, но пока он не

мог сделать ни того, ни другого, и они вышли: вышел гость, за ним Шахро, Гулкан пошла провожать, даже не посмотрела в сторону Леко, путешественник все же разок оглянулся, когда поцеловал руку Гулкан, в последний раз поцеловал, посмотрел на Леко, словно извинялся, что он беспомощен, бессилен, что-либо предпринять и не виноват. Леко в голову не приходило винить его, или Шахро, или Гулкан, только бы отвязали, только бы все обратилось в шутку, но они и глазом не моргнули, вышли, шаги постепенно отдалялись, но его могли еще услышать, его могли услышать, и он повысил голос, повысил и крикнул вдогонку, и слова его в этот раз были иного содержания:

— Отребе человеческое! Как ты осмеливаешься, за кого меня принимаешь! Я не тот Леко! Я другой, иная обязанность лежит на мне. Что творишь, почему становишься поперек пути, кого связала, сука! Кто в мире один, чтобы Таташели жил в одиночку, все живут вдвоем. Двое их: один зримый — второй незримый. Зримый-то что, соблазн, ничто, второй — главное, незримый, тот один, которого не зрят зрячие и не смогут узреть близорукие, безмозглые, как ты безмозглые, как ты невежественные. Вернись, куда ты к дьяволу уходишь, дочь преисподни, уродина, открой глаза. Я явился спасти тебя, избавителем явился тебе, твое имущество спасти пришел. Мне-то терять нечего, имущества с ноготок не потеряю, успел, пораспродав все, покутил, повеселился, показал кузькину мать и другу, и недругу. Ты потеряешь, уродина этакая, вернись и развяжи или их не отпускай, они без меня, ничтожества, погибнут, все погубят, вернись, говорю, недоносок, не воображай, что тебя спасет тот, который штаны над крепостью вывесил, Бека твой, растопчут, уничтожат, подожгут и тебя спалят, превратят в уголь, покажут то, чего в жизни не видела, дрянь ты дряхлая! Я избавитель. Приди и молись, зажги мне свечи, пади на колени и умоляй меня, ты, чучело выродившейся жизни, бесчувственная, неразумная тварь, пади на колени и уразумей, ибо это я... Это я... Это я...

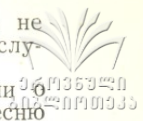
Голос у Леко Таташели сорвался, никто не откликнулся, никто не подошел к нему, ни звука до него не доносилось. Только Бардзим Зедахевели смотрел из комнаты, смотрел вроде и насмешливо, и с завистью. С насмешкой потому, что зря надрывался Леко, все равно ничего не выйдет, раз связала его Гулкан; с завистью потому, что рано или поздно Леко все равно развяжут, отпустят, а его, Бардзима, никогда.

ХIII

Отпустили, конечно же, но до того, до освобождения Леко, молодой музыкант стал спутником Шахро Цискаришвили. Этот знал свое дело, не плутал, не бродил бесцельно. Они замешкались ровно на то время, которое требовалось, чтобы унять распоясавшегося Таташели, дальше никаких помех, только в конце Арджевани дорогу преградила бревенчатая ограда. Несколько человек, у ограды, мигом разобрали бревна, не спрашивали, кто они, откуда идут и куда направляются, зна-

ли: крепость Бека смотрела на дорогу, Бека загородил дорогу. И знамя Гурандухт виднелось на крепости, хотя и назвал его Леко Таташели штанами, тем не менее походило оно на знамя; развевалось вольно, свободно. Вольный ветер развевал его... Одним словом, дороге им преградила ограда, и разобрали бревна и дали лошадей, какие-то люди с винтовками встретились дорогой, поздоровались и исчезли; встретили они по пути и молотильщиков, крестьян, укладывающих сено в стога или дробящих на солому, поздоровались и промчались мимо; хотя, что греха таить, не очень уж быстро мчались, путешественнику трудно было сидеть на лошади, ничего не поделаешь, трудно; подгонял Шахро лошадь и останавливался, поджидал, извинялся, что гонит, потому как спешит, должен вернуться обратно: «надо женщин Арджевиэли в безопасное место вывести, тем оно пахнет, иначе не стал бы убиваться и ты бы ехал как способней». И снова гнал лошадей, останавливался, поджидал, останавливался немедленно, если кто-либо показывался на дороге и ехал рядом с гостем, недобрый взглядом смотрел на случайного встречного. Так они ехали, протопали броды, высохшие русла рек, обогнули прибрежные рощи, сокращая путь, поехали по полю, и вышли к Натбиси, к Итрилевскому току. Прошли они весь этот путь, как сказано, безо всяких приключений, не испытали ничего неприятного или страшного, и понял или уверовал путешественник: с каким попутчиком сведет судьба, таким и будет путешествие, от попутчика зависит все, нечего жаловаться на дорогу, хотя и тут возникли некоторые неудобства, к примеру, когда он сошел с лошади, почувствовал, что ноги у него одеревенели — ни выпрямить, ни согнуть, но не беда, пустое, пройдет.

Проводник с лошади не слезал, что-то сказал встретившему их парню, привязал лошадь путешественника поводьями к луке своего седла, пожелал счастливого пути и пустился вскачь, подняв пыль столбом. Нико остался стоять у тока, большого тока. Десять молотильных досок кружили по нему в два ряда, кружили живо, быстро, шумно. Молотильщики криком и возгласами подбадривали волов. Нико стоял, втайне надеясь, что они запоют жатвенную песнь стоял, наострив уши, но никто не запел. У соломенных груд сновали арбы, увозили солому в амбары, ее оставалось достаточно, большущая копна стояла немолоченной. Обильным и щедрым выдался урожай, для них выдался щедрым, по сравнению с другими, а то и они жаловались на плохой урожай в нынешнем году. Жаловались и другие, все жаловались, зиму ждали трудную, иные уже сейчас испытывали нужду, уже ворчали, или сыпали проклятьями, или сидели молча, съездившись. Обмолот подходил к концу, хотя стоял еще август, прежде обмолачивали хлеб весь сентябрь, порой и до середины октября, токи порой засыпал снег, ранний снег, токи зажиточных, богатых семей разумеется. Так, еще не окончился август, уже пробилась поросль озимой. У очень немногих осталось что обмолачивать, и они ворчали: у Итриели тоже кое-что осталось, хотя на этот раз было куда как меньше против прежнего, все же «возблагодарим господ», — говорил старший, и упреки, готовые сорваться с языка, примерзали к губам остальных, возблагодарим



господа и землю, не пощадим сил своих, будет работать не покладая рук. до седьмого пота, и земля воздаст нам по заслугам нашим...

Убавилось благо земли... Путешественник не знал ни о благе ее, ни о тяжести работы на току, он знал только песню и искал то, что было ему знакомо. Его приглашали отойти в тень, под навес. Из-под навеса вышел человек, поднял руку в знак приветствия и одновременно подзывая к себе. Музыкант подошел и представился, словно боялся, что его и здесь опередят, примут за кого-то другого.

— Знаю, — с улыбкой сказал встретивший, — мы вас ждали...

— Леко....
— Ха, ха, ха... не сумел избавиться? Заходи, заходи...

Он пригласил его под навес, который служил и гостиной, и местом отдыха; и обедали здесь, и совещались, все вмещал в себя этот навес, пересоздавался наспех, впрочем, ничего не менялось: тот же длинный стол с вытянувшимися в длину наспех сколоченными лавками по обе стороны, крыша на столбах; на одной стороне—сложенные связки сена, своеобразные кресла, садись и отдыхай, хотя можно было и посовещаться, и поспорить, кое-где даже валялись книги. Юноши и девушки сидели на молотильных досках, подставив лица жаркому солнцу, а когда сменялись, вбегали под навес, набрасывались на воду, опускались на сено, точнее падали, обесиленные, на некоторое время закрывали глаза, некоторое время листали книги, и кто знает, может, не дочитывали и страницы, звали их на смену. Тем не менее здесь была и читальня. Словом, все, кроме кухни. Готовили дома, из дому приносили пищу для всех: молотильщиков, аробщиков и прочих. Несколько столов накрывалось сразу. На столах лежали опрокинутые чаши, разливали по чашам еду, ели, сами же мыли посуду и снова переворачивали кверху дном, подложив под чашу ложку.

Нико уставился на опрокинутые чаши.

— Скоро время полдничать, — успокоил его встретивший.

— Мне ничего не надо, — сказал Нико.

— Знаю, — улыбнулся встретивший, — гость трижды должен солгать; «спешу», «не голоден» и «я не сюда шел, иначе * меня для вас был хороший подарок».

— Нет... почему же?!

— Так говорят в народе...

— Но ведь не о всех....

— Не будем толковать об этом, сказано — и пусть себе, мы и вспомним, посмеемся, — сказал он легко и просто, и гость сразу почувствовал себя непринужденно и спокойно.

Многое он читал. Ему было нетрудно успокоить удивленных или испуганных, ибо и испуг, и удивление суть принадлежность жизни, а все, что принадлежит жизни, — участь людей. Многое он читал, многое перенес, тюрьмы России, скитания за границей, партийную борьбу, философские дискуссии, многое перенес и многое перенес бы ради спасения народа, ради свободы народа. Ко всем партиям примыкал, со

всеми расстался, поскольку с ним не соглашались, они, по его убеждению, не так понимали или не так направляли судьбу народа, как понимал он. Откуда было гостю знать об этом. Шакро ничего ему не говорил, только торопил. Леко зал бы, объяснил наперед, подготовил. Каждый сопровождает на свой лад, у каждого свои недостатки. Во внутреннем нагрудном кармане лежит у него свой попутчик — путеводитель, составленная собственноручно карта, но и она только напомнит о Натбиси и Итриели, в отдельности никого не характеризовал Георгий Канчавели, или Никуша не запомнил, и теперь силился вспомнить, но ничего не вспомнил. И догадаться не догадаться. Не мудрено. С него хватит и того, что не принял за крестьянина человека в рабочей одежде и предположил, что ему, должно быть, лет сорок, — достаточно вполне. Но вернемся к хозяину. Значит, он вышел из тюрьмы, махнул рукой, поступился своими убеждениями, вернулся домой, к дядям, братьям. И тех потрепала жизнь изрядно, кого где, когда когда, но кто-нибудь один да всегда оставался в доме, ждал возвращения второго; потом вернулись все поочередно, побежденные, с обманутыми надеждами, сломленные. Этот вернулся позже всех, смирился, наиболее самоотверженный... Да, вернулись все, вернулись к земле, натбисской земле.

Нагрелась земля натбисская, нагрелся ток, нагрелась молотильная доска, колос нагрелся, кромсался, распадался, превращался в солому, сбивался в копны, воли мордами ворошили копны, свистел прут, быстрее бежала горячая молотильная доска, знойное марево полыхало над током. Надо было собрать, перевероршить солому, некогда было встретившему, улыбнулся он гостю, извинился, вышел из-под навеса. Те, кто возили солому, подбегали на арбах, показалось еще несколько человек, они расчищали поливные каналы... бросили заступы, деревянными лопатами принялись ворошить солому, обнажили середину тока. День был жаркий, отлично молотилась пшеница, только и оставалось мечтать что о ветерке: если подует ветерок, к вечеру все кончится, все, что следует сделать в этот день, впереди другие дела, спешные, необходимые, неотложные; они ворошили солому и переговаривались, останавливались, разминали затекшее тело, оттирали со лба пот и перебрасывались короткими, деловитыми, скупыми словами. Гость, верно, потому и не понимал, слушал и не понимал, слишком много говорили сухие слова и жесты. Он сидел в тени, перебирался на другое место, если его настигала пыль, и тут его настигала пыль, и оттуда он перебирался, только пыль не могла перебираться так, пыль тока, пыль удушливого дня как бы стояла на месте.

Они работали привычные к солнцу и пыли, здоровые, почти все одного роста, выше среднего, представительные, широкоплечие, слегка сутулящиеся, нос чуть с горбинкой, брови густые, лицо загорелое, пшеничного цвета; для постороннего глаза они походили друг на друга как две капли воды, для постороннего глаза, не то различались они, можно сказать, даже очень.

Гость тоже заметит разницу. Познакомится поближе, познакомится и заметит. К тому же словно по воле providения

по одному они появятся, по одному перед ним предстанут, но до того они издали, кивком головы с ним поздоровались. Никуша решил, что на этом их знакомство и кончилось и о нем забыли, однако он ошибался: только перевернули обмолоченное, по одному оставили ток, подошли к ручью, отряхнули одежды, почистились, помылись и только потом направились к нему с едва заметной улыбкой, пожали руку, осведомились о самочувствии, прибавили, что давно ждут.

Он не заметил, как принесли обед. Никуша не знал, что представляют из себя старшие, что же он мог знать о младших, каким образом догадаться, кто из них чей сын или чья дочь, племянник или племянница, внучатый племянник или крестник. Ох, Леко, Леко!.. Как хорошо он все умел объяснить, еще в дороге объяснил бы, потом за этим самым длинным столом. Тот, который во главе стола, сказал бы Леко, глава семьи (впрочем, он и сам об этом догадался, особой догадливости и не требовалось: сел во главе стола, остальные ждали, сели только после него), те, что справа, — братья, сказал бы Леко, слева — племянники и среди них тот, который встретил гостя, усадил его поближе к главе семьи. Горячность отличала главу семьи умеренная, но заметная горячность, судя по тому, как он крошил в чашу хлеб, как знаком давал понять жене, что она слишком медленно разливает обед (она разливала довольно быстро, но ему это казалось недостаточным), еще по тому, как, поднимая стакан, он коротко говорил тост и не ждал остальных. У него был маленький сужающийся в середине стакан, с широким дном, он обхватывал его пальцами, и другие должны были сделать то же, все происходило молча, без приказаний, без слов, само собой, так проходил и полдник, и ужин, с глотком вина необходимым, чтобы утолить жажду, запить кусок. Ни о каком пьянстве, ни о каком опьянении и речи быть не могло, и слегка не затуманивались глаза главы семьи или остальных. Во всем он был умерен, только не в работе, не знал он меры в работе, обожествил труд, и никто из нерадивых, ленивых родственников шагу не смел ступить в его дом во время работы, не смел, разве что в праздники, но и тогда не обходилось без упрека.

Упрекать или запоминать неприятности было не в его правилах, но его порой вынуждали упрекнуть, заставляли своей нерадивостью, ленью, и он вспыхивал, корил беззлобно и забывал тотчас же, но все равно напоминали при случае, напоминал брат, который сейчас сидел по правую руку от него, опустив голову, задумчивый, весь во власти невеселых раздумий! Такой уж характер. И сейчас он был исполнен сомнений и подозрительности в адрес гостя — кто это еще пожаловал, песенник, время ли песни петь, впрочем, еще вопрос, песенник он или нет. Он сам тоже ходил, ходил по куда более деловой дороге, старался утвердиться в нефтяной промышленности, не удалось, взялся за марганец, не вышло, не повезло и с работой по поставке леса, никакой выгоды, везде одни убытки, — вернулся домой обремененный долгами. Разбил сады, но всякому урожаю свое время, а ростовщики не ждали, женился на состоятельной женщине, расплатился с процентными

долгами, хлопотал в своих садах неудачник от промышленности, надеялся поправить дела торговлей фруктами. Брат обещал оборудовать консервный завод, несколько лет тому назад пообещал, сейчас воды в рот набрал.

Так думал он про себя, и глаза отражали его невеселые думы, глазами же отвечал ему следующий по возрасту брат — «вынешний день, слава тебе господи, окончился, посмотрим, что нам принесет день завтрашний».

Судьба изгнала из дома и его, заковали его в кандалы, и восемь лет таскал он их на каторге. Освободился, и без долгих рассуждений, не заглядывая вперед, не оглядываясь назад, не вспоминая и не спрашивая о своих прежних товарищах по революционной борьбе, отказавшись от новых, которые звали его, махнул рукой и направился в Натбиси: направился в Натбиси и взялся за плуг, ходил за плугом от ранней весны до поздней осени, и в этот раз он работал на пахоте, пришел полдничать со своими аробщиками, аробщиками или племянниками, сыновьями, сестрами, приехавшими на каникулы, молодыми, бодрыми, живыми, с блестящими чистыми глазами. Они сидели в конце стола. Гость мог их видеть, разглядеть, но у него рябило в глазах, лучше было обратить внимание на сидящих вблизи, на того, кто находился рядом. С ним он был знаком, знаком не то слово — уже считал его близким, дальше сидел его брат, помоложе, ладный парень, несравненный танцор, не имеющий себе равных, представительный и видный на всех пирах, на всех празднествах... Брат его, который сидел рядом, тоже долго скитался, жил в Египте; перебрался в Алжир, наладил там дела, встал на ноги, но обосноваться на чужбине надолго все равно не сумел, забрала его тоска по родине, вернулся, вернулся, но и здесь не сиделось на месте и уезжать не хотелось, труд осточертел, лень стало трудиться, работал через силу, злился, когда дядя не давал ему покоя, и не мог понять в то же время, куда денется и как будет жить, если его не будут заставлять работать.

Земля уносила печаль, земля вмещала в себя все раздумья, горести, скорбь. Земля унимала все волнения и необузданные страсти. Землю возмутить не могли. Покой исходил от земли, натбисской земли, разве что поэтому собрались они все, собрались и не знали, что их ждет. Может, и отсюда придется уйти, собраться и уйти, как заставили собраться и уйти из Рачинской области, область не пощадил, растоптали, повыкалывали у людей глаза, изрубили кого смогли, кто не успел спустился с гор, а кто успел, нашел прибежище в Итрии у родственников, но и там не смог остаться долго, остаться без земли не сумел, в Натбиси завладели небольшим участком, трудились, работали до седьмого пота, маялись, приобрели весь Натбиси...

Кто бы объяснил Никуше все это, быть может, и Леко столько не знал, не ведал. Гостю только удалось узнать имена, и то с большим трудом: прислушивался, когда кого окликали, а они сидели все вместе и смотрели друг на друга, редко с их уст слетало имя, все же услышал, запомнил. Старшего, дядю, звали Давидом, меньших Кахабером и Димитрием, старшего из племянников, того, кто его встретил первым, — Росто-

мом. следующих за ним — Георгием и Бакаром, услышал он имена и других, но не заострил на них внимания, боялся загрузиться. Впрочем, их и не следовало мешать с остальными, они только кончили полдничать, поднялись, вышли к речке, укрылись в тени ивы. Убрали столы, эти не вставали, остались на местах, замолчали, предавшись каждый своим мыслям... Тяжкие мысли владели ими...

XIV

Тяжкие мысли владели ими... Сейчас иных забот, кроме сева и жатвы, у них не было, но год выдался пелучший.

— Да, — поднял голову Давид, — ждет нас нужда.

— Если откроешь закрома и раздашь хлеб всей деревне... — многозначительно заметил Кахабер.

— Да, — то ли подтвердил, то ли заупрямился Давид, — а что же делать?

— Деревню не насытишь.

— Хоть однажды накормить — и то великое дело.

— Деревню не оденешь, не обуешь.

— Пара лаптей — и то великое дело.

— Деревня благодарной не будет.

— Одно спасибо — и то великое дело.

— Выеденного яйца не стоит.

— Стоит.

— И пусть себе стоит, толк-то какой?

— Никакого толку, — вставил Бакар.

— Если деревня голодна, тебе тонэ не разжечь, — сказал Давид.

— А чым трудом добыто, — буркнул Кахабер.

— Голодный не спросит... Не спросит голодный...

— Так раздавай прямо с тока, к чему тащить в амбары? — проворчал Бакар.

— Надо знать, сколько у нас зерна, сколько можем выделиться деревне.

— Всей деревне не выделишь.

— И половина — великое дело.

— А надорвешься на этой половине?

— Деревня не даст надорваться.

— Ей-богу, хорошее утешение... — усмехнулся Бакар.

— Хорошее утешение, — ответил Давид и слегка вздохнул, — в этой взбаламученной жизни.

— Какая сила ее упорядочит? — сказал Бакар.

— Нужда, — процедил Кахабер сквозь зубы, — нищета бесприютная.

— Человек из берлоги вышел...

— Обратное не загонишь, — сказал Давид, — мельничное колесо только вперед вертится.

— А ты направь поток с другой стороны, оно и закрутится обратно.

— Как же направишь? — засмеялся Давид.

— Владыка направит.

— А владычествует кто?

— Владыка, — уклонился от прямого ответа Бакар.

Остальные не вмешивались в разговор, Димитрий на что-то упорно уставился, смотрел не мигая или никуда не смотрел, сидел оцепенело, и кто знает, может, и не слышал, не понимал разговора; Ростом разглядывал свои руки, будто видит их впервые и диву дается, вот они, оказывается, какие? Георгий напевал под нос то одну песню, то другую, перемешивая классические мелодии с народными, захотел посвистеть, но не решился, свист выводил из себя Кахабера, он и сдерживался, не беда, выйдет в поле, насвистится, пока губы не вывернутся от усталости, а сейчас можно было и песней удовольствоваться: петь тоже запретил бы Кахабер, потом и на Димитрия прикрикнул бы, и на Ростома, чего, мол, уставился на свои руки, словно на «Карабадин»¹ какой-то, ничего от него не ускользало, ничто не оставалось незамеченным, если не сам. Давида заставил бы сказать, заставил бы живо вмешаться, но пока Кахабер не злился, пусть себе напевает Георгий, только бы не начал свистеть, пусть напевает сколько душе угодно.

— Неурожай и насилие делают свое дело, переполнится чаша и... — заметил Давид.

— Пусть переполняется, — процедил Кахабер, — почему же раздавать?!

— Надо....

Кахабер взглянул на Димитрия, как бы приглашая вступить его в разговор: «видишь, этот упрямится», но тот не шевельнулся, и сурово бросил Кахабер:

— На что уставился?

— Ни на что, — Димитрий неотрывно смотрел на это «ничто», — восемь лет смотрел так, привычка—вторая натура.

— Отвыкай, — рассердился Давид, — к дурному не следует привыкать.

— Не следует, — подтвердил Димитрий, — есть много чего, что «не следует»...

— Не будет больше! — надулся Кахабер.

— Господь да услышит тебя, — вяло сказал Димитрий, — пусть бог рассудит и решит. Пусть кто хочет решает, я со своей стороны кончил.

— Кончил или кончился? — усмехнулся Давид.

— А хоть и так, — уже другую точку опоры нашел Димитрий.

— Стоять в стороне легко, — сказал Давид, — потому у никчемных людей это в правилах.

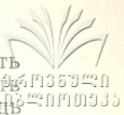
— Ты каторги не видел...

— Думаешь, избавился от каторги?!

— Отстань... — коротко бросил Димитрий, поднялся, вышел.

Позвал бы его Давид, обласкал, извинился, утихомирил, успокоил, но заворчит Кахабер, если не сейчас, после, не вовремя упрекнет, позлорадствует. Он любил подавлять мягкую душу, ни во что не ставил обиду или удивление, никого не щадил, никого не выделял.

¹ Древнегрузинский лечебник.



— Ошибаешься ты, — сказал Давид вслед. — И пусть никто не думает, — обратился он к остальным, — и пусть никто не хвастает, что видел что-то особенное. Все что-нибудь да видели, а всего никто видеть не мог. Да и не всему позабудешь. И довольно с нас.

— В таком случае бережливым быть надо... — снова вмешался Кахабер.

— Надо раздать, — стоял на своем Давид и не уступил бы легко.

Но и Кахабера никто не поддерживал, он надувал губы, усы сбились.

— Тоже мне певец, — бросил он сквозь надутые губы.

— Что, неприятно?! — беззлобно улыбнулся Георгий. — И не удивительно, в такую жару-то какая приятность?

— В жару, — подтвердил Давид и тут же прибавил: — Приятно, неприятно... никто тебя не просит развлекать, если и тебя касается то, о чем я говорю, тогда...

— Извольте, доверяю вашей мудрости...

— Шутить?! —

— Нет, почему же?! Доверяю, говорю, как вам угодно. Хотите раздавайте добровольно, хотите — защищайте с оружием в руках, я, в свою очередь, как прикажете — тоже стану раздавать или вооружусь, мне все равно, как прикажете, говорю, хотя по мне лучше вооружиться если здесь останусь...

— Ты все такой же?!

— Почему бы и нет? Сидеть в грязи и ждать, когда придут меня увести?

— Почему не уехал?!

— Я и сам не знаю... Я и здесь должен быть нужен...

— Будешь....

— Когда же?!

— Разве так много времени прошло?!

— Много. В году триста шестьдесят пять дней, чудеса в один день совершаются.

— Веками готовятся...

— Ха... Можно подумать, я мафусаилов век проживу. У меня одна короткая жизнь, в ней сила, и если я ее не потрачу, изведет досада.

— Потрать.

— Каким образом?! Да и что вы со мной спорите, дядюшки, я с вами согласен! Если здесь находиться буду, то согласен, а если уйду, так уйду, и дело с концом.

— Останешься, — отрезал Давид.

Георгий вполголоса запел тоскливую песню. Пусть поет, напеваает, упрямится, не уступает, через минуту все станет на свои места, через минуту он уступит, пойдет куда велят, следом все решительно, только бы остаться здесь на земле, только бы не затеряться на чужбине, и они это понимали, они это знали и, конечно, не пытались его убеждать в чем-либо. Ростом — другое дело, Ростом они хотели убедить больше чем кого бы то ни было, но увы! Хотя почему же?! Ростом не грозился уйти и никого не подбивал, ни в какие дела не вмешивался, молчал Ростом, отсутствовал. Видно, таким становится человек, испытывавший горечь великого поражения: испытал и

еженощно вспоминает тот свой непоправимый шаг. Так бывает всегда — и в стужу, и в зной, и в теплынь, и в прохладу. Нынче царил зной, горечь испытанного поражения и удивительный зной слились воедино, перемешались, расплавились, этот разлился по воздуху, и уже не воздух, но толстое небьющееся стекло свисало с небес до самой земли, за ним, как расплывчатые отраженья, виднелись листья, виднелись волны — их бока раздувались до невероятных размеров и опали, бока волон, с вывалившимися длиннющими красными языками. Бока раздувались все медленнее и опали окончательно — нечем было дышать больше. Язык так и остался высунутым, во рту пересохло; невозможно было запрячь их в молотильную доску, да и к чему запрягать — когда и без молотильной доски зерно выпадало из колоса. И сидели под навесом раскаленные люди, ничуть не удивлялись солнцу, не жаловались на солнце, и жизни ничуть не удивлялись, не жаловались на жизнь, только порой покалывала мозг мысль об иной жизни, а какова она? Об этом, полагали они, знал Ростом, знал и, значит, мог ее добиться, только бы начал действовать, только бы взялся за дело, но он и не думал действовать, если вынуждали говорить, говорил обратное тому, что говорили Давид и Кахабер. Больше Кахаберу возражал Давид, нет-нет да и прислушивался к словам Ростом.

— Ты старший брат, изволь же старшинствовать, — снова заворчал Кахабер, — должен посоветовать....

— Отстаньте... Мы сейчас ничего друг другу посоветовать не можем, все мы одинаковые, всех потрепала жизнь, разбросала по дальним дорогам, разметала, ввергла в какой-то безудержный бег, а куда бежим и зачем — не пойдем.

— Давай говорить яснее — лицо Кахабера скривилось в усмешке.

— Ясно одно, — вмешался в разговор Давид, — сплотиться нам надо, если семья распадется, пользы — ни себе, ни народу; сплотиться надо... О бегстве никто думать не должен. Наш предок пришел один, двух крепостных с собой привел, от двух крепостных деревня пошла. Взгляните, какая деревня, а мы? Деревню ли заселим? А это стремление бежать за границу, что это, чем вы там заниматься будете?! Сплотиться нам надо — остальное приложится.

— Это старая мудрость, ты скажи что-нибудь поновей, — не замедлил возразить Ростом.

— Старая, да правая...

— Правая... другую, говорю, соответствующую нашему времени!

— А новое в том, что хозяйственник с твоими возможностями не должен терять времени на току. Надо народ пробуждать, готовить. Без предводителя и народ ничто, народ без предводителя баранта.

...— А вы как думаете? — обернулся Давид, к гостю. — Вы молчите... молчание знак согласия, но кто из нас прав? Честно говоря, я думаю, вы на моей стороне, а?

— Как вам сказать, — вымолвил гость, — и в Тбилиси, знаете ли, повсюду оживленные беседы, жаркие споры, а их избегаю, не вмешиваюсь в политику.

— Почему?

— Не знаю, почему я должен вмешиваться в политику?!

— Сдаюсь, — Давид подмигнул Кахаберу, — ничего не могу возразить, но скажите-ка, почему вы не вмешиваетесь в политику?!

— Вы понимаете, музыканты... Я музыкант... композитор...

— Музыкант... национальный, не правда ли?!

— Нет, знаете... я пока ничего такого не создал, пока только...

— Пока или после, для кого вы должны творить, для народа, не так ли?

— Если смогу...

— Это и есть политика, вся политика в том, что у нас есть пшеница, а у других ее нет, и то, что у нас есть и мы раздадим, — тоже политика.

— Не раздадим! — оборвал Кахабер.

— Потерпи!.. — рассердился Давид. — О чем я говорил... Сейчас другой деятельности не существует, народ ищет выхода, и чем бы вы не послужили народу — вы политический деятель.

— Прошу вас, — обеспокоился гость, обратившись сперва к Давиду, потом к Кахаберу, потом к Ростому, — прошу вас, очень вас прошу!..

— Как вам угодно! — Давид взмахнул рукой. И эти слова, и жест означали: ты гость, не стану ничего у тебя вытягивать и приставать к тебе. Как пришел, так и уйдешь на все четыре стороны, а если я спросил, спросил просто так, из вежливости, ты-то должен был что-то сказать; ничего другого не начал этот жест; хотя, если говорить начистоту, Давиду хотелось, чтобы гость принял его сторону и возражал Ростому. Как-никак слова человека из Тбилиси были бы интересны, он знал бы что-нибудь, что-нибудь новое, ободряющее; вежливость вежливостью, но именно потому он и вызвал его на разговор, в задачу заметил, с каким настороженным вниманием прислушивался гость к беседующим или спорящим, смотрел то на одного, то на другого, можно было подумать, он весь внимание, участвует про себя в разговоре, участвует и ждет, пока наступит его черед выговориться, вот и решил Давид прийти на помощь, что ж, подумал, давай говори, твой черед. Оказалось, зря гость приглядывался, прислушивался, зря вытягивал шею, даже подался вперед. У Давида испортилось настроение, только сейчас он почувствовал неистовство жары, провел ладонью по лбу, сухой ладонью, ему показалось, что вспотел, но ладонь осталась сухой; он не поверил, еще раз провел рукой по лбу, достал из кармана платок, но и платок остался сухим, и все же ему продолжало казаться, что пот льет с него в три ручья. Не вспотел и Кахабер, но ему, в противоположность Давиду, не казалось, что пот льет с него градом, он словно вовсе забыл о жаре, помыслы у него были одни — как-нибудь убедить Давида не выдавать пшеницу, не распре-

делять среди крестьян, ни единой душе, как бы та душа ни нуждалась. Нелегкая это была задача, Давид что вообьет себе в голову, колом теши — не выбьешь, точь-в-точь как Ростом старший, тот Ростом, который первым пришел в Натриси, пришел один в сопровождении двух крепостных, первым всадил заступ в натбисскую землю. С тех двух крепостных деревня пошла, род же Итриели не размножился, все стали жертвами самых различных обстоятельств, самых разных людей; шестеро мужчин прежде как-то и не собирались вместе, собрались в конце концов кое-как, собрались, чтобы вновь стать жертвами, всем вместе. Молодежь возилась у ручья, боже, защити хотя бы их. Так думал Ростом, не тот Ростом, который первым всадил заступ в натбисскую землю, этот, с которого пот в самом деле лил градом. Давид думал о другом, отирал платком сухую кожу лица и думал о другом, думал, что все спасутся, избегнут беды, размножатся. Вера его была непоколебима, тверда, непробиваема, но то была лишь вера и ничего больше, она укрепляла Давида, это была только его личная, собственная вера, остальные разбрелись, распались, только физически остались вместе, а духовно порознь; разобщились они внутренне, рассеялись кто куда; все по-прежнему подчинялись главе семьи, по его указанию делили работу, но мнения его уже не разделяли, что же могло укрепить семью, как не единство мнений? И озлился Давид, ожесточился Давид, отирал платком сухой лоб, сухую шею, досадовал, что исходит потом, а никак не может отереть его. Жарко было, воздух похляпал зноем, земля горела под ногами, пылала, огонь охватывал тело и мозг, исчезали вершины Кавкасиони, исчез Триалети, только гора Лихская... где она? Нет Лихской горы. Впереди море, море залило все окрест, но медлили они, не бежать же навстречу? Им было так жарко, бог весть, может, и море бы подожгли объятые пламенем, охваченные пожаром, или, может, оно уже загорелось, огонь сжигал воду. Горела земля, горел воздух, горело все вместе разом, одновременно... Давид прикрыл глаза платком, решил, что это мираж, прикрыл глаза платком, побоялся его снять — еще привидится море, объятые пламенем. Там должны были находиться только Триалетские горы, должны были находиться, да не было их, что произошло под раскаленным солнцем?! Кто поймет, когда пылает мозг, пылает тело и пот высох....

В такое время и воля ничто, и выпрямился Кахабер:

Не раздам!

Не будем больше возвращаться к этому.

— Не раздадим!

... Ждут.

— Пусть себе ждут.

— Нелюбви деревни врагу пожелать.

— Враждовать-то деревня умеет.

— Тем более.

— Все равно не будет деревня благодарна.

— Пусть не будет.

— Жадна она, завистлива...

— Тем более...

— Все равно в тебя выстрелят...

- Пусть....
- Пусть выстрелят голодные...
- Пускай стреляют насытившиеся...
- Не делай этого!
- Довольно об этом! — отрезал Давид.



Говорить уже не было никаких сил, самый воздух изнемог от зноя, день изнемог от зноя, изнемогла душа. Они сгрудились у ручья, опустили ноги в воду, горели огнем или поджигали воду, словно лучины горели ноги в воде. Ива нависала над ручьем, окаменелая ива нависала и вроде не нависала, даже тень от нее исчезла, ива и ее тень изнемогли от жары.

XV

Вечер наступил еще более удушливый. До вечера закончился спор под навесом, точнее не закончился, а надо было присмотреть за поливкой, пахотой, током, и отправились присматривать, что поделаешь, если не двигается воздух и на небе ни облачка. Никуда не денешься, дело есть дело, оно своего требовало, принуждало, заставляло выносить невыносимое, хотя не особо богатым выдался урожай, но даже работа на току осталась незавершенной, перемолотить-то пшеницу перемолотили, да не развеяли — не было ветерка, как же веять, сгребли, разворошили деревянными лопатами, ничего не вышло, не освободилось зерно от половы, бросили, передохнули в ожидании ветерка, тут и наступили сумерки, раскаленные, лоснящиеся, охваченные заревом, казалось, не стемнеет никогда больше, зарево поглотит ночь и вышедший из вечной преисподни мир предается вечному свету. Как бы там ни было, вечер наступил еще более душный, на току делать было нечего, и ужинать под навесом охота отпала, направились к дому, полагая, что зной не проник сквозь толстые стены. Но нет, проник, никакая сила не могла ему противостоять, зной поселился в столовой, она находилась на солнечной стороне, столовая — комната с большими окнами, да и двери оставались открытыми; тогда перешли в марани; в марани сохранилась прохлада, давяльня тоже была прохладной, большая давяльня. Прислонились к давяльне, вздохнули с облегчением, тут же накрыли стол.

В марани и продолжилась начатая беседа или прежний спор, попытки убедить или разубедить, утвердить веру или безверие, разочаровать или вселить надежду.

Смысл разговора был прежний, прежнее содержание, разве что слова были несколько иными, несколько другие примеры приводились, по-иному горячились или волновались, все равно, смысл оставался прежним, силы сторон или расположение то же, Кахабер по-прежнему старался разубедить Давида, и гость по-прежнему смотрел то на одного, то на другого, на всех поочередно, да, на всех поочередно, потому как вечером у всех возникла охота говорить и все говорили гораздо больше, чем в полдень. Словом, как бы там ни было, разговор велся тот же, и повторять его здесь не стоит, хотя много

было острых слов, пословиц или поговорок, сравнений или воспоминаний, все равно не стоит повторять.

...В самый разгар спора Давид взмахнул рукой: «пора и честь знать, пора отправляться спать, завтра надо подняться, что не успели сделать сегодня, в этот душный день, надо успеть завтра» — сказал, и поднялись хозяева, поднялся и гость. Вышли во двор, и гость последовал за Ростомом, попросил немного побыть во дворе: «если вы не очень устали».

Во дворе веселилась молодежь, и на нее прикрикнул Давид: спать пора. Подожди, отвечают. Завтра работать завтрашнему, что ж, посмотрим так посмотрим. И гость с Ростомом остались с молодежью. Еще раньше отошли в сторону, точнее, гость отвел его в сторону, признался в своих страхах.

— Они ведут такие разговоры, наверное, думают, будто меня прислали с особым поручением, будто я что-то устраиваю; так думали многие и многие, со многими недоразумениями мне пришлось столкнуться и не хочу, чтобы здесь повторилось то же или худшее. Хоть вы поймите...

— Поймем...

— Я только...

— Знаю! — Ростом не стал выслушивать объяснений. — Когда бы и не знал, все равно ничего не заподозрил. Элизбар велит отправить вас в Тбилиси — мы это сделаем, ясно, ничего особенного в этом нет, раз Элизбар велит, говорю, гадать тут нечего и не к чему.

— Благодарю!

— Не стоит!..

— Если бы вы знали, какое облегчение мне принесли!..

— Знаю...

— Вы все знаете...

— Едва ли. Но это понять могу. И они поняли; а говорят не для вас! Так повелось в последнее время. Растерянность рождает споры, так было, так будет. Каждый перелом вызывает обостренные чувства. Если рок овладел человеком — не увильнешь. Откровенно говоря, вы хорошо увильнули, отмахнулись, мое дело, мол, музыка, музыка так музыка, сплет нам молодежь...

Споют, сказал Ростом. И спели, спели «О, глаз твоих»... новый романс, сочиненный на европейский манер, но с явными персидскими модуляциями. Легко стало у гостя на душе, обрадовался он, обрадовался, оживился, впервые обрадовался за все свое путешествие, и столь неожиданной была радость, столь восторженной, полагаю, он подумал, что стоило все вынести ради этой одной минуты. Блаженной оказалась минута, блаженной, приятной, неповторимой. Бывают, как выясняется, и такие минуты в путешествии, бывают и много более радостные, неожиданно радостные, и повторялись они, видимо, неоднократно сменяли злключения, для него эта минута наступила только однажды, успокоила: стряхнул он с себя пыль опаленных зноом карталинских дорог, с пылью стряхнул усталость, страх, обманутые надежды, волнения, столько всего исчезло с той неожиданной радостью, а случись повторится такая минута, наверное, бросил бы самую мысль о бегстве, никого и слу-

шать не стал, повернул обратно, то есть начал все сначала, с той же охотой, один-одинешенек пустился в путь, может, той же дорогой пошел. Один. Ему никто не нужен. В нагрудном кармане лежит его несравненная карта. Да, только бы повторилась такая же минута, когда обрел себя потерянный, всплыл из бездонной глубины, всплыл во мгновение ока. Теперь, может, спросите, что такого особенного произошло, а особенное заключалось в романсе — он был его автором, он написал несколько романсов таких или похуже, или получше, неважно, факт остается фактом — этот один приобрел известность, и такую известность, что в пору испытаний пришел ему на помощь, пришел на помощь и вытащил из омута. Некоторая дрожь все же пробирала его, дрожь при мысли о том, знают или не знают, что именно он написал этот романс. Впрочем, не знают, и ладно, все равно хорошо, прекрасно, превосходно. Оказалось, знали, и, пожалуйста, не заставляйте меня описывать его блаженство: растаял человек, затрепетал от волнения, превратился в дрожь, дрожащими пальцами коснулся струн гитары, один только раз, один только раз, когда решил показать, что надо не так, а «вот так, да, да, вот так», только и у самого ничего не получилось, смирился, пусть будет по-вашему, так лучше звучит.

И здесь завершился миг блаженства: шум поднялся у ворот, это были они — представители власти, обошли деревни, устали, решили передохнуть с дороги. Могли отдохнуть и где-нибудь в другом месте, но в другом месте один отдых, а здесь и ужин в придачу, и овес для лошадей, понятно, здесь им было лучше во всех отношениях, вот и попросились: отдохнем, говорят, если можно. Можно, отвечают, и телку заколоть заставили, оглядели — может, не хватит, и закололи еще барана. Молодежь заспешила в дом. Старшие разбросали по траве циновки, накрыли их скатертью, пришельцы расположились на циновках, хватило, много было циновок, уселись, подложили под себя ноги, только оружие не давало им покоя, неудобно было сидеть в полном вооружении, они отстегнули ремни, вздохнули облегченно. Гость поочередно оглядел их, что делать дальше — не знал, когда молодежь ушла. Ростом направился к воротам, стоял там один, как соглядатай стоял, не дай бог заметят. Или заметили, да не обратили внимания — стоит и стоит; все равно страх одолел гостя, какое уж там блаженство, что за блаженство, какая теперь уж надежда услышать еще и другие свои романсы. Не походили они на любителей романсов, таким манером уселись, таким манером вздохнули, и впрямь той одной телки и вкуса не почувствовали бы, той одной телки и нескольких тунгов вина. Хорошо, что бара на подбавили и в квеври колыхалось вино. Но ему-то, гостю, какое до всего этого дело, его объял страх, и Ростом подошел к нему, предложил пройтись, прогуляться. И страх прошел, исчез, улетучился, словно бы и не было его; пусть бы и заметили, его это не заботило больше. Ростом им ответил бы.

Может, заметили, может, нет, главное — никто за ними не погнался, никто ни о чем не спросил.

Они миновали плетень и вышли на проселок. Проселок сверкал голубоватыми искрами светлячков, проселок звенел не-

прерывным, с хрипотцой, звоном, порой оглушительным, порой замирающим. Сверчки пели свою долгую песню ночи, казалась, она никогда не кончится, но у всего свой конец, и песня сверчков приутихла у начала тишины кладбища. Да, приутихла или, точнее, потеряла свой звон, и доносился до могильных плит странный, протяжный звук, голос непонятный, не постижимый, голос тленный, словно души преставившихся перекликались друг с другом, звали кого-то, искали нечто оставшееся в подлунном мире и кружились, кружились в воздухе с голубоватыми искрами светлячков, кружились, словно заблудившиеся, вокруг одного и того же места, словно изо всех сил старались разобраться, где находятся, чтобы вернуться в бранный, но сладкий мир, обрести плотью, ибо не существует бесплотный, не существует то, у чего нет плоти, нет лица; но выродилась та плоть, поддалась тлению, выродилось то лицо, предалось гниению, и мечется голос затерянный, мечется дух, дух безликий, неприкаянный, бесприютный, мечется. Мечутся вечно ищущие, вечно не обретающие, и скрючивается воздух, корчится, выгибается, ломается, разбивается вдребезги, ибо наполняется голосами ищущих, которые не могут приноровиться к иному обличью и не верят, что растлился их облик.

И слышался голос, дальний, голос поразительный, голос согбенных под тяжестью вечной бесприютности. И они сидели лицом к лицу на могильных камнях, сидели и слушали голоса из небытия.

— Может, хотел отдохнуть... — произнес под конец Ростом или раздался замогильный голос.

Гость вздрогнул, помедлил с ответом, потом рассеянно спросил:

— Что вы сказали?

— Может, желаете отдохнуть. Я вывел вас, думал, ветерок подует, здесь лучше отдохнешь....

— Да! Да! Лучше отдохнешь, — согласился гость, испытывая чувство облегчения, потому как убедился, что голос доносился не из могилы: тут же сидело существо, человек во плоти, образ, освещенный бледным светом, очень бледным светом неба, усеянного звездами.

— Кладбище успокаивает... очищает душу...

— Да, конечно же... Да, — смелее ответил гость, в этот раз как бы окончательно убедившись, что голос исходит не из могилы.

— Мне кажется, если подражателей цезарей и императоров время от времени по ночам выводить на кладбище и оставлять одних, можно им мозги перекроить.

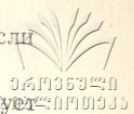
— Ха, ха, ха... да, да!.. — и засмеялся гость (голос, конечно, не был могильным, сомнения и испуг как рукой сняло).

— Впрочем, многим и это не поможет, многие еще большей жажды крови исполнятся.

— Почему?!

— Есть характер, есть страсть, утратившие человеческое начало...

— Ах!.. Есть... есть... — гость затаил дыхание, затаил на минуту и вдруг воскликнул, словно человек, только что сде-



041035020
041035033

лавший открытие: — Знаете что?! Полагаю, самое лучшее, если повсюду правителями страны назначат музыкантов.

— Ха, ха... ха...

— Они человеколюбы. Они чувствительны, их волнует судьба человека. Они не заразятся болезнями тиранов, не превратятся в деспотов, нет, клянусь всевышним!

— Ха, ха... ха...

— Клянусь всевышним,—с меньшим чувством произнес гость, поскольку ему показалось, что за спиной Ростом метрах в пяти или шести приподнялся могильный камень или кто-то встал с могильного камня, а потом присел на него, кто-то голый присел, устался в спину Ростому или Нико в глаза. Так ему показалось под небом, усеянным звездами, на кладбище, полном могильных камней и каменных глыб, показалось, и он промямлил: — Клянусь вам...

— Верю, — со смехом продолжил Ростом, — вы так искренне клянетесь, не верить вам — значит не верить в искренность вообще.

— Вы так смеетесь... — он запнулся, не в силах докончить мысли — еще кто-то уселся на могильный камень, тоже голый, и руку протянул, или махнул рукой призраку, который присел первым.

— Я просто так смеюсь...

— Здесь, кажется... — шепотом проговорил гость, — ничего смешного, — и опять осекся, осекся, когда начал подниматься третий камень, начал подниматься и на камень взгромоздился, должно быть, покойник, кто же еще: человек, выше пояса — голый, ниже — одетый, возможно, и обросший волосами, с козлиными копытами...

— Нет, нет, не обижайтесь на меня, — извинился Ростом, — всякое может быть, все может быть, музыкант так музыкант, дай бог испытать нам музыканта в роли главы государства, только бы оно у нас было, это государство, кто бы его ни возглавил, только бы мудрые советники его окружали, пусть музыкант, только, пожалуйста, не будем спорить хоть здесь, пусть музыкант, только не ваш учитель, нет, нет, не ваш учитель и мой друг Георгий Канчавели, только не он, другие — извольте, пожалуйста, вот вы, хотя бы...

— Чтоб вы знали... — сказал гость и, словно язык проглотил, присел и третий призрак, зато поднялся другой, точно такой же голый выше пояса, поросший шерстью, с козлиными копытами, похожий на сатира, поднялся или прыгнул, он не разобрался, помутилось в глазах.

— Хотите вступить за Георгия, воля ваша, однако не стоит, уверяю вас, поскольку доказательство—одно, а разочарование — другое или разочарование нечто самое тяжелое и неодолимое. Меня охватило чувство разочарования, когда я узнал, что Одиннадцатую симфонию написал Канчавели. Не знаю, кантата это или симфония, не слышал и не собираюсь. Я не верю ему больше. Нет, нет, не обижайтесь! Автору «Мая» не следовало писать этого так легко, не обижайтесь, у меня свои взгляды на вещи, и я прав; человек—это вера: верой был и верой останется, если же он изменялся внезапно, на глазах, то становился фальшивым, будь он музыкант или живописец,

1619359210
016211101933

шли отдохнуть на кладбище, дождались, пока стемнеет, проголодались и решили прийти, хорошо что они, Ростом и Нико, встретили их, не то настал бы судный день: ведь те уже были там, во дворе, эти застали бы тех; и разверзлись бы врата ада в Натбиси. Сейчас нам вроде повезло, спаслись, я убедил их остаться здесь, сюда все вам принесут, говорю, я их убедил, остальное зависит от сметливости Давида, я в нем уверен, а мы отдохнем...

XVI

Сумел ли отдохнуть гость? Да как вам сказать, место для отдыха ему отвели, постель постелили, он разделся, прилег, прилег и закрыл глаза, вот и все, к чему говорить о нем больше. Положение Давида было куда более трудным: эти сидели у него во дворе, противники их расположились на кладбище, и эти проголодались, и этих и тех мучила жажда. Голод голодом, ничего особенного, этим-то он заколол телку и барана, заколол телку и барана и тем, насытились бы и незаметно продолжили путь, все зло таилось в жажде, в жажде, вызванной высушенным досуха днем, днем, опаленным зноем, в жажде, говорю, все зло таилось, и припали измученные жаждой, припали к зеленоватому натбисскому вину, от которого першило в горле. Бог весть, что бы за этим последовало, бог весть, может, песня, может, сквернословие, может, сплошной крик, бесконечная гульба, всего можно было ждать, всего этого или подобного этому. И хуже: обнаружат друг друга и потом, гм, потом такое пойдет, потом будет, что будет или не будет уже ничего и никого, все изрешетят пули, выжжет огонь все окрест. Я и говорю, трудным было положение Давида, сложным; рассказывать, что он предпринял, что перенес, получится целая история, история одной ночи, ночи переживаний, хотя, впрочем, завершившейся благополучно. До завершения, однако, надо было выдержать, довести дело до завершения, до рассвета, когда он этих отправит в одном, а тех в другом направлении, одних вверх, других вниз по дороге. Потом они все равно столкнутся друг с другом, потому как ищут встречи, или одни ищут, другие избегают, все равно столкновение неминуемо, так или эдак в ту ночь ничего не произошло. Натбиси выпался с миром...

Но вернемся к гостю. Отдохнул ли гость? Право, не знаю: он долго метался в постели, все чудились восставшие из мертвых, чудились, и в душной комнате призраки приобретали более реальные очертания, потом вдруг исчезли, а когда вернулись вновь, уже наступило утро, солнце светило во все глаза, покачивались деревья, шелестели листья, шелестели оживленно, радостно, весело: падал первый лист, первый лист со слабым черенком, первый или единственный, чуть тронутый желтизной. Упал первый листок и — поднялся ветер. Сырой ветер, яростно набросился на охваченные жаром листья. Да, поднялся ветер, но ветер бывает разный, до тридцати названий его приводит Сулхан-Саба Орбелнани, четыре или пять из них не подаются толкованию, успели позабыть определения тех не-

скольких ветров, совершенно разных. Говорят, западный ветер, восточный ветер, ветерок, зефир, порывистый ветер, сильный ветер — в более подробные пояснения не пускаются, если у кого-нибудь и слетит с языка слово «буря», он тут же пояснит, сильный ветер, словно и этот род ветра уже не поддается определению; а теперь в Натбиси, как вам сказать, буря не буря, ураган не ураган, нет этому ветру имени, отмечен он в словаре многоточием. Да и что толку описывать его подробно, если никто не хочет слушать, что толку! Одним словом, шумели листья, дул ветер вольный, желанный после адской духоты, дул ветер, у которого нет имени.

О госте, о Никуше, что вам сказать, о том, что ветер поднялся, я сообщил, вздохнуло все живое и неживое, впрочем, я не говорил этого, да и нет надобности, и без меня догадаетесь, только все-таки скажу, кто знает, не догадаетесь или куда-нибудь не в ту сторону побегут мысли, рано еще, еще не подошла к концу история нашего путешественника, не окончилось пока путешествие, окончится, когда путешественник вернется домой, если вернется... Да... Ветер, говорю, поднялся, ветер заставил его выйти во двор; ни единой живой души вокруг; он огляделся по сторонам и недолго думая пошел вдоль ручья. Ручей бежал, за ручьем гнался ветер, и он шел между ручьем, ветром, между ручьем, ветром и айвовыми деревьями (далее между айвовыми деревьями бежал ручей); в тених айвы он заметил волокуши и старые бороны и ворох прутьев для борон; какой-то мужчина сидел на чурбаке и внимательно разглядывал, а может, и складывал прутья, он направился к нему узнать дорогу на ток, знал, что все Итриели сейчас на току и, главное, Ростом. Он подошел к мужчине, остановился над ним, кашлянул, тот взглянул на него снизу вверх, ошетинились усы в улыбке, усы Леко, да, не удивляйтесь, именно Леко Тагашели. Леко улыбнулся, приподнялся, вытер ладонь о подол рубахи, поздоровался за руку, осведомился о самочувствии, словом, встретился с ним горячо, как со старым другом, которого давным-давно не видел.

— Вы откуда? — удивился гость.

— Только-только пришел... — нахмурился Леко, — только-только, пришел, и вот тебе, пожалуйста, стащил с меня одежду, всучил рабочую, сплетай, говорит, борону. Не дал ни передохнуть, ни поздороваться, ни за здравие выпить. Борону, говорит, сплетай, ну и гостеприимство, ты слыхал о таком гостеприимстве?

— Как вам сказать...

— Не слыхал? И я не слыхал, — Леко пожал плечами, чего только не видел, чего только не слышал, но такого не видел, не слышал. Потому и не люблю сюда приходить, — тут прикусил губу Леко, нет, не сильно, слегка, чуть прицемил зубами губу, словно проговорился, а не хотелось, нельзя было. — Вижу, ты спасся, тебе ничего не поручили?

— Ничего...

— Приглянулся ему? Диву даюсь... Верно, готовит тебе что-нибудь удивительное, без дела он никого не оставит, не бойся, без дела не останешься, если он покамест оставил тебя в покое, значит, что-то тяжкое ждет тебя впереди, — он под-

мигнул путешественнику, подмигну. многозначительно, приободрил или что другое, трудно сказать, трудно сказать, что началось это многозначительное подмигивание. — Работа моя не очень тяжела... Но все-таки, где это слыхано... Даже при- сесть не позволил, спросить о его здоровье не позволил, пода- еду и чашу вина... сижу теперь с этими прутьями...

— Может, вам помочь?

— Нет, садись. — Леко пододвинул гостю чурбак, — ты мне не помощник, работу знать надо. Хорошая борона, говорит пахарь, половина урожая, остальная же половина — хорошая погода. И чего это пахарь хвастает, не понимаю!.. Никто другой, как я, борону не справит... Моя борона, гм!.. Сама ползет, только ей разреши, ни волов не надо, ни погонщиков и ни сеятеля. Улыбаешься?! Мне и самому смешно, выходит, хвастаю, что поделаешь, душу отвожу. Однако одно истина — никто другой борону лучше меня не справит. Только до бороны ли мне? Сегодня день преобразования, до бороны ли?! Истинный труженик нынче не работать должен, а благословлять день преобразования. Искони так было, а этому хоть бы хны, — тут Леко, заговорил не своим голосом, — где ты до сих пор, какое время шляться по деревням, когда все вокруг огнем горит?! — Гость догадался, что Леко передразнивал Давида. — Неслыханная встреча! Многое я повидал, еще больше слышал, но такого не слышал, не видел, а ты?

— Нет...

— Ответа и не требуется, кто видел, кто слышал?! Никто, никто! Здесь, в этой благословенной нашей стране, а если где-нибудь такое бывает, пропади оно пропадом, и пусть бывает, мне-то какое дело, никакого мне до них дела нету, откуда этот перенял, одно меня удивляет, ничто другое не удивляло и не удивит. Меня зовут Леко Таташели, и потому зовут, что не умею удивляться, а этому удивился и так удивился, чуть ли не готов отказаться от своего имени. И кто?! Я, Леко Таташели?! Неа... нельзя. Не бывать такому! Иначе мне путь сюда заказан, но если я и сюда себе дорогу отрежу, то и от родственников должен отказаться, да-с, но разве может жить Леко Таташели без родственников, неа... нет, не может!.. А что такое родственники, кроме как — если пришел в гости — прими, посади рядом, что такое родственник, скажи на милость?! Все равно не сумеешь. Мои слова в твоём подтверждении не нуждаются. Да и ты на меня не обижайся, не в настроения я. Человеку не в настроении простится. Или чего ради я перед тобой извиняюсь, скажи на милость, чего ради я перед тобой извиняюсь, что я тебе сказал такого?

— Ничего!

— Чего же ради я извиняюсь!?

— Не знаю....

— И не должен... Кто много трудился, и те умерли... Это-то ты знаешь?

— Знаю...

— Кто богатство стяжал, и те?

— Знаю...

— Кто величие снискал, и те?

— Знаю....

— Велика важность. Кто веселился — и тот умер, и раз все умерли, кто как пожелает, так и должен жизнь прожить, но пока еще никто не сумел так прожить жизнь, как того желал. Почему? Если ты и это знаешь, значит, все знаешь, лучше мне замолчать. Хотя, пока замолчу, чтобы ты поближе и получше со мной познакомился, доложу о том, что Ростом и его братья приходится мне племянниками с сестриной стороны, и, значит, раз они мне приходится племянниками, их отец был моим зятем, вот это был человек... Да какой, эгей! Заявись к нему со множеством гостей — и бровью не поведет, развеселится сам и тебя повеселит. Одно слово — старший, такого старшего признаю! А этот?! Гм... И к нему приведи сколько угодно гостей — глазом не моргнет, но что с того, всем работу подыщет, в тот же миг впряжет в работу. Не могу взять в толк, что к чему, и раз я. Леко Тагашели, не могу разобраться, никто не разберется, и лучше мне помолчать, да и другому зря голову не ломать.

И впрямь замолчал Леко, опустил голову, принялся тщательно сплетать прутья, тщательно и ловко, видно, на самом деле знал в этом толк, набил руку; да, замолчал, говорю, но раз умолк, притих, то неспроста, видно, затанул что-то в душе, может, хотел втянуть гостя в разговор и раздумывал, как половчее это сделать; да, возможно, думал об этом, откровенничать не стал бы больше, и того признания было достаточно, что его в этой семье не принимают, как надо принимать гостя, а ведь он не простой гость — родственник близкий, достойный всяческого уважения, но все равно, стоит ему прийти, впрягают в работу. И этого, говорю, достаточно, хотя и это не все, нет, не все, если говорить до конца, следовало бы сказать, что его состояние, Леко, ушло на выплату процентных долгов, и виной тому бесхозяйственность и невезение, а потом он обрел приют у Итриели, с ними остался и до сих пор у них ютится, нет у него иного выхода или прибежища, они должны его поддерживать, а когда, врагу пожелать, наступит черный день, день погребальный, они его должны оплакать и могилу его землей засыпать, но до черного дня — как наступит весна, как настанет пора выйти на полевые или садовые работы, он соберет свои пожитки и пойдет по родственникам, праздники праздновать, праздновать дни святых образов; с божьей помощью родственников у него немало, с божьей помощью и праздники не переводятся на этой нашей благословенной земле, и великий обычай гостеприимства в крови нашей — не жизнь, а малина. До поздней осени. Потом, когда дело сделано, он и возвратится, сколько бы там ни ворчали, ни во что не поставит. Желудку проголодаться не даст, простудиться себе не позволит. Весной его согреет солнце, выведет в мир, и будет Леко ходить, бражничать до поздней осени. Опять же благослови бог солнце и наш великий обычай, который зовется гостеприимством и так сидит в нас, что скорее можно брань в адрес своей матери вынести, чем его нарушить: этот (Давид) пусть себе ворчит сколько его душе угодно, сколько душе угодно осуждает и упрекает, зимние работы не так тяжелы, как весенне-летние, к тому же, если есть дело, он сам больше всех других работает, и волей-неволей начнешь ему подсоблять,

— вот что Леко должен был сказать, если хотел говорить до конца, без умолчаний, если полное доверие, искренность и дружба возникли между ними, Леко признался бы путешественнику еще и в том, что и его, Нико, водил бы он с собой до поздней осени, а потом уже привел сюда, но случилось непредвиденное. Леко дал промашку, и они оба очутились здесь; тебя, мол, отняли у меня, а я за тобой, и тебя, думаю, выручу, и себя, а как же, какая сила меня здесь удержит, еще молотьба не подошла к концу, а уже сев на носу, неа, нет, меня никакая сила не удержит и в какое время-то, преображение!

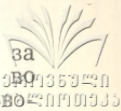
Тут Леко посмотрел на небо, облака плыли по небу, по синему, сверкающему небу плыли белые кучистые облака. Потом и облака помутнеют, и чистое небо помутнеет, к тому дул ветер, к тому шелестела листва деревьев. Да сгустились бы облака, сгустились и усеяли небо, черт с ними, потом пускай хоть метель, хоть пурга, черт с ними. Леко вернется обратно. У Итриели всегда горит огонь в очаге, вернется Леко, обсохнет, отогреет продрогшее тело, залечит побои — без этого не обошелся бы, конечно, нет, не обошелся бы без побоев, если где-нибудь за столом появилась бы женщина, если не знали привычку его, натуру его, если бы не предусмотрели ее. Да, успокоит он свой мозг воспаленный от выпитого вина и бесконечного разгулья, окрепнет, поднаберется сил, подготовится к весне. Но все это потом, потом... Пока подует слабый ветер и облака помутнеют, зашелестят листья, и шелест этот приятен, необходим, потому что означает начало преобразования. Преображение началось, потому и подул ветер, жара не для пиршественного стола. Так утверждал Леко Таташели, утверждал, и выходило, что он прав, затянулись бы кутежи, затянулись пиры, пошли один за другим праздники: за преобразованием — день святой Марии, потом — геритаоба, гулял бы Леко до рождества, а то и Нового года. Пусть себе хмурится небо, пропади оно пропадом, разгорятся в каминах коряги, свет каминна осветит пиршественный стол, свет разгоревшихся коряг, и люди за столом распялятся, станут похожими на коряги в камине. Пусть себе хмурится небо, пропади оно пропадом. Наступило преобразование, земля облегченно вздохнула, освободилась от духоты и зноя.

Так и в этом духе думал Леко Таташели, сплетал борону и думал вслух, поскольку не в его правилах было молчать, не мог он молчать, даже думать не умел про себя. И только он кончил размышлять вслух, гость уже знал о его намерении, хотя не расслышал многого (не всегда отчетливо мыслил вслух Леко), но все равно хорошо понял, все равно постиг его намерение, смысл его рассуждений постиг и встревожился, ведь и он с тем же намерением начал свое путешествие по карталинским дорогам, так ему и советовал Георгий Канчавели. Дороги его, правда, несколько спутались, но в конце концов все стало на свои места, наступило преобразование, великий праздник, огромное скопище людское, день великого пиршества и вольных песен. Путешествие с Леко не принесло ничего доброго, правда, но не бывает такого несчастья, чтобы кто-нибудь да не погрел на нем руки, или: нет худа без доб-

ра, так или иначе привели его эти смутные хаотичные дни к празднику преобразования, а если они в ту же ночь наведались бы к Итриели, он был бы теперь уже в Тбилиси, светокосенный, притихший, но что толку в спокойствии, если оно не удовлетворяет самого малого твоего желания — так и в этом духе отвечал гость, но не вслух, нет, в душе, молчал он и потом, когда перестал думать Леко Таташели и обратился непосредственно к нему:

— Сейчас о тебе все равно никто уже не помнит, нет, тебя не забудут, но сперва они примутся за копну, которая вчера осталась неразвезенной, сперва они с ней управятся, а потом другое вылезет, да и вылезать-то нечему, и без того тысячи дел на шее, покамест о тебе и не вспомнят, может, и молотить не будут в день преобразования, но от других дел по полудню не откажутся, потом и тебя навестят, потом о тебе заботиться начнут. Может, сегодня же и не отправят, может, вознамерились оставить тебя на праздник преобразования, их не поймешь, скажут неожиданно, сразу, если сразу же не согласишься, повторять не будут. Нам ли думать-гадать об их намерениях, вон только сад минуем, косогор виден, взбежим по этому косогору, и храм преобразования как на ладони со своим подворьем. А в подворье в тот праздничный день яблоку упасть негде, все окрест до вершины холма усеяно людьми. Только взбежим, нас встретят. Хочешь, лошадей выберу, никому слова не скажу, мои племянники, попадись я им на глаза, и бровью не поведут, наилучших лошадей выберу, помчимся на отборных конях, но лошадь — груз все-таки, внимания требует, не даст повеселиться, попить вволю, песни послушать, да и расстояние невелико. Мне пешком ходить не лень, и тебя от этого не убудет, перемахнем через холм, тотчас нас и встретят. Если пожелаешь уехать в Тбилиси, после праздника, конечно же, отправишься. И станция там же, рядом, Кура там же и станция, раз плюнуть — плюнешь, поверь, в станционный колокол попадешь, задребезжит колокол, тут и поезд подойдет, сбежим по склону и на паром, вмиг успеем к поезду. Это в том случае, конечно, если пожелаешь уехать, эти меня поблагодарят даже, что не потратили времени на твоё отправление; если уехать, говорю, пожелаешь, а нет, если не торопиться, пойдем в гости к Хахе Амирэджиби, там и застанет нас праздник святой Марии. Сливки тбилисского общества будут на мариамоба, запомни, и твой Георгий там же будет, там же тебе посоветует, превратный совет Георгия Канчавели лучше дельного совета Элизбара Хетэрели. Я так говорю, да и моего слова тебе не надо, Георгия Канчавели ты лучше меня знаешь. Да, все непременно сливки тбилисского общества в этот день у Хахе будут, а ты с какой стати в Тбилиси тащишься, ответь мне, ради бога, растолкуй?!

Не смог бы он растолковать и не старался, впрочем Леко и не требовал ответа, ведь то был не вопрос как таковой, нет, не вопрос, а убеждение в форме вопроса, он его и убедил, добился своего, снова заставил поступить по-своему, однажды его уже вырвали из рук Леко, и снова он попал, оставили на мгновенье одного, и он вновь стал его жертвой.



Да, вновь стал его жертвой... Пошел с ним, последовал за ним, побежал трусцой, возможно, предшествующая ночь в многом тому способствовала и еще песня, песня «О, глаз твоих», он, должно быть, тешился надеждой, что и там спуют, и другие его романсы спуют, и потому с такой охотой и готовностью последовал за Леко, которого страсть к такого рода путешествиям вообще никогда не покидала. Так они и отправились в путь, долго ли шли, недолго ли, запыхавшись, поднялись по косогору на вершину холма, но, увы, ни пира, ни песен, ни арб, перекрытых коврами, нигде следа ночного костра, ни акробатов, ни шутов, ни джигитовки, ни борьбы, ни смотрин невест, ни мелких торговцев, ни дудуки, ни пандури¹, ни пирующих, ну и, конечно, никаких встреч и приглашений. Бывало, приглашения сыпались со всех сторон, со всех сторон сыпались упреки: «почему к нам не жалуешь, не поздравляешь с днем преобразования, ну-ка давай заходи, заходи», надо было быть недюжинным молодцем, чтобы хоть к вечеру достигнуть подворья храма преобразования, а ведь достигали, даже если вконец теряли рассудок, достигали, обходили храм, обходили, покачиваясь из стороны в сторону, выплачивали тем самым свой долг, а выплатив, снова начинали кутить у светлого, чистого храма Преобразования. Обходили и дубы храма, (здесь некогда рос дубняк божества — покровителя преобразования), некогда, в стародавние времена, когда о Христе еще не знали, не ведали, потом дубняк вырубил и возвели храм Богородицы, потом снова местность обросла дубняком, потом храм Богородицы обновили и вырубил дубняк, потом снова дубняком оброс храм Богородицы, потом снова уничтожили дубняк, бог весть сколько раз повторилось так. И теперь лишь несколько дубов оставалось на подворье церкви, и тащился Леко вместе с другими, плелся вокруг храма, потом вокруг дубов или, наоборот, сперва вокруг дубов, потом вокруг огромного храма. В церкви горели свечи, дым от свечей возносился кверху, возносился вверх вопль верующих. И вокруг дубов горели свечи, окутывало дубы пламя свечей, и брели, покачиваясь из стороны в сторону, пьяные от вина или опьяненные верой, молитвами, упоением; с надеждами, тысячи раз обманутыми надеждами, которым и впредь не суждено было сбыться, но все это встарь, не нынче, нет, не нынче, когда Леко и гость, запыхавшись, поднялись на вершину холма преобразования и увидели церковь...

Нынче было так: они вприпрыжку достигли вершины холма, спустились, запыхавшись, с трудом глотая воздух, медленно спустились по склону того же холма, холма преобразования, миновали изгороди, никто их не встретил, никто не напоролся на них; они краем глаза заметили несколько спин и несколько ног, заметили обувь, заметили, как затрусили к ним или от них, неважно, все скрылись. Тем не менее они шли, обширна была местность, на которой праздновался праздник преобра-

¹ Дудуки и пандури — нац. музыкальные инструменты.

жения, холм был пуст, но на нижних склонах непременно должны были быть люди, всегда были и теперь были бы. Если тишина стояла повсюду вокруг — и это ничего, минутное молчание порой наступает и на праздниках, и река, как всегда, порой перестает шуметь, и они все шли, шли и пришли к храму преображения. Там вдруг все изменилось, вдруг поднялся шум, гвалт, послышались голоса людей, звуки музыкальных инструментов, звуки и голоса доносились из церковного подворья, вырвались бы наружу, покрыли бы склоны холма преображения, как он о том помнил. Но голоса были иными, иного рода, не такие, какими он их помнил, люди тоже были иные, иного рода, не такие, каких он привык видеть, и праздник наступил иной, не такой, каким он его знал. Раздался народ в два ряда от ворот подворья до дверей церкви, или от дверей церкви до ворот раздалось войско, поистине армия народа. Расступились люди, дали дорогу моельщикам, священники шли впереди них, били рукой себя по головам моельщики, женщины в черном за ними следовали, царапали себе щеки или опускали платки на глаза и уши затыкали кончиками платков, чтобы не слышать голосов, не слышать смеха, хохота, грохота, барабана, торжественных звуков народных инструментов. Хотели или нет, слышали или нет, все равно прошли торжественно, бия себя руками в голову, царапая щеки, на Леко и гостя и не посмотрели, не обидели и не обрадовали, прошли мимо, ушли, беззвучно причитая.

И эти последовали за ними, шли, шли и остановились, тотчас же остановились, как только подумали: с какой стати идут за ними, какое им до них дело, или сперва Леко сообразил, сперва Леко остановился, сообщил об этом Нико, путешественник на него уставился и пожал плечами: «как вам сказать, какое у нас может быть до них дело?». Никакого, ясно, не трудно понять. И поняли, но что предпринять дальше? Ничего не сумели придумать, то есть Леко ничего не сумел придумать, а этот уставился на него, втянув голову в плечи или застыв на месте, представляйте, как вам угодно, только запомните, что по одну сторону виднелся храм, по другую — проселки, безлюдные проселки — и никто их не зазывал, ни от души, ни вежливости ради. «Не зовут и не надо — праздник на то и праздник, что приглашений не требуется, обидятся, если не наведаешься, господи боже, мог ли кого-нибудь обидеть Леко Таташели, на то он и Леко Таташели, чтобы не заслужить упрека на празднестве», — так сказал Леко и прищелкнул пальцами, кашлянул многозначительно: «не сомневайся, не просто сбить с толку Таташели, не растеряется Леко». И не растерялся, оставил храм позади, оставил позади и витые-перевитые проселки, пересек небольшое поле, достиг уединенного участка, с одной стороны окруженного ореховыми деревьями, с другой — виноградником. Там он чаял встретить Паниели, самых истовых моельщиков в день преображения, людей не очень уж известного и выдающегося рода, никогда не бывших очень богатыми, но размножившихся, поселившихся

в стороне от других, образовавших поселение, поселившихся порознь, семьями, в одинаково низких домах из кирпича-сырца, с небольшими усадьбами, зеленеющими усадьбами, с небольшими пахотными угодьями, которые из году в год их кормили.

Но все это никак не интересовало Лeko Таташели, он прекрасно знал: что бы ни произошло, Паниели не нарушат традиции праздника преобразования и не выбегут, не выйдут из своих усадеб, будут сидеть и ждать гостей, сидеть, очищенные духовно, с обильным угощением. Если их навестить, то встретят тихой, духовной радостью, а не навестят, так не навестят, пойдут в гости к другу другу, повеселятся спокойным, душевным весельем.

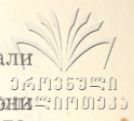
Шумным, говорливым, сумбурным бывал праздник преобразования, без происшествий не обходилось, не обходилось и без кровопролития, слепо переданся ему древнейший обычай жертвоприношения, кто-нибудь непременно становился жертвой слепого случая, если не несколько человек, то хотя бы один становился жертвой слепого случая, кто-нибудь зверел, если не несколько, то хотя бы один зверел, не умиротворялся без пролития крови. Пусть ходит слепым слепой обычай, слепо пусть ходит, как слепо ходил. Языки пламени выбрасывал костер, что разжигали в древнейшем дубняке божества преобразования, выбрасывал и требовал одетую в белое деву, прекраснейшую, избранную он требовал: юноши или молодцы вступали в схватку, и победитель становился главным жрецом, побежденный — жертвой вместо той избранной прекрасной девы в белом. Хотя и то можно предположить, что чаще избранники вступали в схватку из-за девы. И как слеп ужаснейший обычай, древнейший обычай, отброшенный, осужденный, растоптанный, затаптанный, так слепо кружился, полыхал костер божеству преобразования, порой так разгорался, лизали языки его огромный храм, храм Богородицы, кровавым светом освещали его, раскаляли, нельзя было потушить то пламя водой, но только кровью, только кровь могла его потушить. Как же это случилось, что приноровились, сосуществовали божество преобразования и Богородица?! Трудно сказать, нужда, несчастья, разорения и бог весть что еще! Бог весть!...

Что бы там ни было, Лeko знал: покой царил в селении Паниели, как бы ни напивался, помнил, что может укрыться там, и укрывался; там бы его защитили и защищали, иначе до сих пор, кто знает, сколько раз принесли бы его в жертву божеству преобразования. Не раз ему казалось — полыхал пламенем храм, хотя кого-то уже убили, все равно горел, не хватало огню крови одного человека, страх вселялся в Лeko, ужас сковывал все его существо, но надежда его не угасала, поскольку он находился в среде безобидных людей, у Паниели. Он лил воду, побольше воды лил себе на голову и смеялся перепуганный, но обнадеженный; смеялся и лил себе на голову воду, пока не увлажнялись его разгоряченные глаза и не гасло пламя пожара пожиравшего храм. Ни цвета крови, ни жажды жертвы. В ту ночь он не успел облить голову водой, все совершилось столь неожиданно, он растерялся, не успел, а то, быть может, все было бы иначе. Хотя находи-

лись они в безобидном поселке среди безобидных людей, которые за свою жизнь и мухи не обидели. Лица у них были безмятежные, спокойные, у всех были лица, взгляды, неподвижные сочувствия, сердца, исполненные добра — всем хотелось казать сочувствие, оказать милость, поддержку. Тот день был особым, то был День Гостей, и для гостей распахнуты были их души, согреты спокойной, тихой, молчаливой духовной радостью. Гость есть гость — не различали, гость есть гость, и Леко был гостем. Нико тоже, конечно, был гостем, и если из десяти человек состояла семья Паниели, только один садился за стол, остальные стояли, предлагали, вносили, выносили, прислуживали. Нигде в другом месте Леко так не преисполнялся чувства собственного достоинства. Он был владыкой, властелином, каждое желание коего выполнялось беспрекословно, без единого с его стороны слова, звука, жеста. А не хотелось ему больше оставаться в одной семье — шел в другую, и там расстилались перед ним, потом к другим тянуло, и там встречали наготове, Леко словно царь путешествовал по своему царству, счастливому царству, наслаждался плодами мудрого своего правления.

...Он наслаждался до сумерек... Облака усеяли небо, заморосил дождь, блеснула молния, да, сперва им показалось, что блеснула молния. Разом осветилась темная ночь, ночь облачная, но не последовало грома, а света прибавилось, и он все увеличивался и увеличивался. Сперва он блеснул вдали и стал разрастаться, приближаясь все ближе и ближе, приблизился мгновенно, озарил дом, огонь охватил дом, едва успели выбежать, выбежали, и предстало их глазам ужасное зрелище — горело поселение Паниели, огромные языки пламени вздымались к небу, пламя и искры изодрали в клочья смоль небес. И слышались крики, содрогające душу, не крики потрясенных пожаром людей, нет (хотя были и такие), иные, более ужасные, неистовые, душераздирающие. И среди леденящих душу воплей и рокового пламени пожара стоял храм преобразования, объятый кровавым огнем, похожий на огромный свернувшийся ступок крови, пылал, словно некий символ вечной жажды, жажды крови. Закрыв глаза Леко Таташели, дрожь охватила его, и он закрыл глаза, как только убежал из загоревшегося маленького дома. Он закрыл глаза и бежал с закрытыми глазами, позабыв о воде. Если бы наткнулся на что-либо, пришлось бы открыть глаза, и тотчас же увидел бы он храм в потоках крови. Наверное, некогда, когда там рос дубняк божества преобразования, так же он ревел, выгибался, раскачивался объятый негасимым пламенем, пламенем ярким, грозящим смести все с лица земли, если не принесут жертву. Одна дева уняла бы угрозу, избранная, прекраснейшая, нежнейшая, но что могло утихомирить это пламя?! Ничего! Неумная жажда крови владычествовала в мире.

Леко бежал, бежал, и окликнули, приказали остановиться. Либо он не расслышал, либо не повиновался, побежал быстрее, припустил со всех ног, тогда преградил ему путь, схватили, огрели прикладом, надавали пинков. «Постойте, — закричал, отпрыгнув. — Куда девался Нико? Шагу не ступлю без Нико!». Никто его не слушал, никто ему не отвечал, никто и не спра-



шивал, что это еще за фрукт Нико, его тащили, награждали тумачами и тащили, волокли.

Леко не сдавался, в свою очередь, не спрашивал, кто они и откуда и чего хотят, его беспокоило, что он «потерял человека», только это его тревожило, только об этом и кричал, требовал найти его: «благо, я в ваших руках». «И в наших руках, — отвечают, — и наше дело мы прекрасно знаем». Потяжелели тумачи, быстрее его потащили, поволокли. Волокли при свете пожара и приволокли, куда-то втолкнули, втолкнули, и одновременно со звуком падающего тела раздался мяукающий голос:

— Господин Леко!..

— Ах, и ты здесь, — обрадовался Леко, обрадовался и приподнялся, приподнялся и в тот же миг получил удар в голову, такой удар — искры из глаз посыпались.

— Господин Леко! — все же донеслось до него, но так, что видно, и того хватили по голове, и у того из глаз посыпались искры.

— От него-то что хотите, безбожники, — гость он, — успел выговорить Леко Таташели и тут же осекся, столько ему надавали тумачов и с такой силой надавали. Описывать грубости не стоит, нехорошо и рисовать избитого человека, и передавать слова оглушенного человека бессмысленно, но и всего пропускать нельзя, потому как свое русло имеет каждое сказание, выпадать из русла, оказывается, нехорошо, как и высушивать его, нет, не хорошо выпадать из русла. Так вот, через какое-то время Таташвили пришел в себя, Нико, или Никуша, валялся рядом. Вместе валялись, оба нещадно избитые взбешенными людьми.

«Вы разожгли огонь!»... «Вы ограбили храм!»... «Вы подняли бунт!»... «Вы пролили крови!»... «Кто подбил?»... «Кто поручил?»... «Кто главарь?»... «Кто еще был с вами?»... «Куда девались остальные?»... «Где соберутся?»... «Где они вас ждут?»... «Каковы ваши намерения?»... «Куда дели оружие?.. Оружие! Оружие! Оружие!».

— ...ааааааааа! — раздался душераздирающий стон, и Леко закричал: — За кого вы нас принимаете, меня за кого хотите, за того принимайте, а его оставьте в покое, он мой гость, и я голову за него положу!

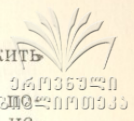
«Вот и прекрасно, — отвечают, — тебя твоя участь не минует, изволь, терпи и за него, ну, давай». И накинудись на Леко, накинудись беспощадно, безбожно. Ничего удивительного, конечно же, о мягкосердечии или умиротворении никто не подумал, о том, как бы люди от побоев дух не испустили, никто не подумал. Да и не сторонился уже никто смерти, и не удивлялся никто, все, что часто происходит, примелькается, примелькалась и смерть, ясно, и пытки, одним словом все. Жизнь Леко висела на волоске, на пороге небытия стоял Леко Таташели, один шаг оставался, один-единственный шаг оставался до тьмы, но нет, не переступал, не переступал Леко порога, что-то его удерживало, что-то странное, что-то сильное, немилосердно истерзанное и тем не менее сильное — удерживала Душа мученика, неодолимый дух. Душа мученика внезапно загорелась в нем, он вдруг поверил в это, поверил на пороге

смерти, и остановился, стоял на подступах к владениям небытия, обратился в скалу, сокрушителя смерти. Воистину. Он помнил или время от времени вспоминал, как волею богов и били, да, время от времени вспоминал, рано ~~чужд~~ ^{чуждо} он непременно испустил бы дух, дух светлый покинул бы бренное тело, переселился бы в вечную обитель, такова, видно, участь мучеников, участь героев, видно, такова участь великая, светлая участь. Но до того, решил Леко, им надо было знать, кого мучали и почему мучали, они должны были знать это, должны были разобраться в этом, уверовать в святую правоту Таташели. Все, что не могло облечь его величием, ложь, клевета, не сулило мученической смерти. Светлы были мученики, всегда светлы, всегда правы, вечно светлы, честны и прямы. И это облегчало им тяжкую, насильственную, не поддающуюся описаниям смерть. Впрочем, Леко не искал облегчения, невзначай пришло в голову, подумалось о легкости, с которой умирали другие мученики, пришло в голову, потому, что он становился жертвой клеветы, становился жертвой чего-то достойного осуждения. Нет, такая смерть не сулила славы мученичества, не нашло бы на Леко святого озарения, свет всевышнего не снизошел бы на лице его. И не снизошел бы, и не сохранил ему жизни, Леко уже не принадлежал к миру сему, но и не хотел покидать его запросто, вытерпел бы, что только возможно вытерпеть, вынес бы невыносимое, не переступил межи, легко преодолеваемой межи, границы, отделяющей жизнь от смерти. И отнекивался, упорствовал, собирался силами, последние собирал силы безотрадной, но жизни!

«Вы разграбили храм?» — «Ааааа...» — «Вы пролили кровь» — «Ааааа...» — «Кто вас подбил?»... «Каковы ваши планы?»... «Кто ваш главарь?»... «Где ваш главарь?»... «Где остальные?»... «Где они соберутся?»... «Где вас ждут?».

«Я все вам скажу и до сих пор сказал бы, только дайте дух перевести». «Валяй, переводи дух», — и окатили его водой, облили всего; и до этого лили на него воду, холодную, ключевую воду, и пар шел от раскаленного тела. Раскаленное тело валялось в болоте, и от него шел пар. От них тоже шел пар, и они запарились, и они обливали себя холодной ключевой водой, точнее, лили ее в рот и изо рта шел пар, они еще громче хрипели, вроде и устали больше. Леко уже не мог устать, ощущение плоти покинуло его, он не существовал в этом мире, но и в том не был, куда возносил или вот-вот должен был вознести его жар мученичества. Настала бы пора, настала бы, в последний раз отряхнул бы он с себя пыль преходящей жизни, возвел бы очи, возвел бы и возвысился, поднялся над облаками и растворился в вечной обители, вечной и непорочной, ибо порочное есть земля и человеки и неискупляемы грехи земли. Вот вам второе пришествие, а ведь и оно, оказывается, тщета, и оно суета сует, грех остался грехом, грех оброс грехом и будет расти, раздольничать, наглеть, так как ничего не сказано о третьем пришествии, так как не может человек отступить от греха.

И мерцал свет святой, поднимался свет, излучаемый мучеником, светился нимб, венец, который Леко видел в церквях над главой Спасителя и пророков, мучеников святых, светился



нимб над ним или вот-вот должен был засветиться, окружить его сиянием, окружить и взлететь вместе с ним.

«Вы ограбили храм!..» — «Мы пришли наполнить его жертвоприношениями...» — «Вы пролили кровь!..» — «Мы пришли исцелить...» — «Вы подожгли храм!..» — «Мы пришли погасить огонь...» — «Кто ваш главарь?» — «Я!.. Я в ваших руках...» — «Ха, ха, ха!.. Куда делись остальные?» — «Остальные тоже я...» — «Ха, ха, ха!..» — «Я—это я и остальные тоже я! Я вам все скажу, постойте, все скажу...—И приподнялся, отполз Леко от болота, далеко ли, только локти вытащил на сушу, тела не смог, не смог вытащить тела, — Я обо всем расскажу... Об убийстве нет, о грабеже — нет, о том, ничего не знаю, не ведаю, об этом в другом месте разузнавайте. Я — это я, Леко, Леко Таташели, тот, на кого провидение возложило величайшую обязанность, величайшую, величайшую! Провидение возложило — судьба предала. Так и есть, сошлись судьба и провидение, сошлись и обрушили свою ненависть на голову человека, гнев небес и преисподни! Человек жалок, судьба предательница, что же провидение, пропади оно пропадом. И оно предатель, и оно коварно!.. Кто его избежал, чтобы я избежал, но что с того, я и дела мои скажут обо мне... и... «незамеченным не останется моей самопожертвованной жизни теченье...». Вот я вам все и сказал, это я, Леко Таташели, я у вас в руках, я зачинатель великих выступлений, зачинщик восстания, но мы не успели, судьба предала нас, судьба улыбнулась вам, ваша взяла, и я в руках ваших, я, Леко Таташели, зачинатель великого дела. И этот в ваших руках — моя надежда и правая рука. Только его не пытайте, он не выдержит, пусть все падет на мою голову, да что там, я все выкладываю. Чего же вам еще надо?! Я и он!.. Изменила нам судьба, мы оба попались, и наше дело погибло, воздайте нам должное, не боимся участи нашей, только гибель дела приводит в ужас, гибель Святого дела, и раз оно погибло — нас уже нет, помолимся, преклоним колена, вознесем молитву господу, чтобы не все погибло. Вот кто я! Я не грабил церковь, нет, не грабил! Я, Леко Таташели, потому пришел в день преображения, потому ждал мариамоба, геритаоба, тавгертаоба, бологеритаоба, потому ходил из деревни в деревню, ха, ха, ха... Почему ходил?! Ха, ха, ха... Потому ходил—народ собирал, народ подбивал, подбивал и собирал, о чем спрашивать — все ясно, без лишних слов. Вы так умны, дальше некуда, смотрите, как бы мозги не порасплескались! Ха, ха, ха... Я в руках ваших, вот видите, пал. Со своим вкладом, заслугами пал ниц перед вами... И мои планы перед вами, карта, карта! Карта все подтвердит! Мною составлена, мной, собственноручно, мной рассчитана, мной уточнена, мной, говорю, моя она, не ошибитесь, не припишите другому, ни другому, ни этому, что поделаешь, если он ее за пазухой носит, он — мой ученик, я ему отдал карту на хранение. Не думайте, что я получил ее из Тбилиси, нет. И вот я в ваших, говорю, руках, кончилось, все кончилось, кончилось, только не исполнилось, это обидно, ничего больше, только это! Что смерть, все мы смертны! Не боюсь я своей участи, ибо предвидел и победу, и поражение, предвидел и то, и другое, но не знал, что труднее перенести: победу или поражение, нет, не

знал. О победе, увы, не узнаю, о поражении... Вот оно. Теперь воздайте мне по заслугам моим и по делам моим, только не приговаривайте к костру или виселице, нет, не хочу болтаться на веревке, и к расстрелу не приговаривайте, рубите мне голову, чего еще вам надобно... отрубите голову и пронесите ее по всей стране — ничего больше, ни о чем не прошу больше. Верую, исполните; ибо свята последняя воля осужденного, ха, ха, ха! — и приналег Леко на руки, чуть приподнялся, чуть вытнулся. — Вечно в сердце своем носите дух мой, дух мученический! Прощайте! Про... — он вдруг оборвал, — нет, это ведь я под конец должен сказать, пред усекновением...».

И обмяк, упал, чуть ли не в самом деле стал похож на мученика, непременно, надо полагать, ощутил бы в себе дух его, будь в его словах доля правды. Не было ни чуточки правды в его словах, но сам-то он поверил в них, порой нимб венчал и бессмыслицу, произнесенную горячо, бывало и такое, бывало!...

Так он упал... Эти уже не стали на него набрасываться, несколько призадумались, вроде начали соображать, соображали, заставили принести все, что оказалось при задержании Леко и его спутника, вытряхнули карманы и наткнулись на эту смехотворную карту! От трагического до смешного, как говорится, один шаг, от смешного до трагического, понятно, не больше: и вот они нашли то, что искали, или не искали, нет, ничего и никого не искали, ни их и ни их карты, и как бы того ни хотели, ничего подобного не сумели бы придумать, судьба даровала, проклятая судьба, судьба, вопиюще несправедливая, ожесточенная. Но жестокая к одному — она милостива к кому-то другому. И эти другие засмеялись, заухмылялись, заулыбались, схватили обоих и куда-то бросили, бросили во мрак, который пахнул хлебом. Леко учуял запах хлеба и впал в забытье, находился в каком-то странном состоянии между раздумьем и безразличием, мыслью и бессмыслицей, сознанием и беспамятством. Этот — я говорю о музыканте — пришел в себя, и тотчас же возникла в его голове мысль, ужасная мысль, и он обратился к Леко. «Что это ты натворил, какая муха тебя укусила, если шутил, какие тут шутки, если злил их, прикидывался врагом, зачем и почему, или при чем тут я? Ты понимаешь, что за этим последует? Наверное, знаешь, что последует, наверное, знаешь, отвечай быстрее, быстрее отвечай!» — он кричал ему в ухо, тряс, но силы его иссякли, голос ослабел, резкие слова походили на бормотание, ворчание, стон. Смешно, Леко ни во что не ставил грозные окрики, ну а стон тем паче, какое имело значение, что кто-то стонал. Разве может понять Героя человек стенающий, разве может постичь душу мученика слабый — нет, конечно, и мученик не снизошел до ответа, но рассердился и жалости не проявил, нет, пускай себе бормочет, стонет, всхлипывает, оплакивает свою душу, сам, никто другой не оплачет, он того не достоин, он не понял Великого Пастыря, не сумел отряхнуть от себя пыль, пыль жизни, жажду жизни поставил идолом и не сумел приобщиться к бессмертию. Может, и опомнится, когда народ заплачет, запричитает, начнет бить себя кулаками в грудь и в

в голову, царапать лицо, — возможно, очнется потом, в пору расставания, в пору вознесения Леко Таташели?! Опомнись, и пусть — сейчас Леко некогда, не до него. Ему надо обдумать обращение к народу, перед тем как занесут над ним меч и отсекут главу.

XVII

Леко решил, что должен обдумать обращение к народу, и предался размышлениям — Леко предался размышлениям, ясно, а вот им, задержавшим его, думать было не о чем, карта все облегчила, облегчила, и пошли они по начертанному на карте пути, пошли и арестовали всех, кто остался в живых с двоюродными и троюродными братьями, племянниками и дядьями, крестниками и соседями и прочее и прочее, забрали, позапирали кого где, кого куда, как способней, где амбар или конюшня попросторней; о тех, кто сопротивлялся, и говорить нечего, в импровизированные тюрьмы бросили только тех, разумеется, кто не сопротивлялся, бросили, заперли, но то и дело открывались двери и вталкивали нового человека, скажем, Хетэрели, но кого же из Хетэрели? В живых остался один Элизбар. Его взяли, когда он хлопотал над раненым, взяли вместе с раненым.

Он не удивился, ни о чем не расспрашивал, ничего непривычного в этом, собственно, и не было — приказали встать — поднялся, поднялся и сказал, что должен зайти домой, сказал так, словно его опять вели к больному, сказал, и, представьте себе, подчинились! Привычка — вторая натура, говорят, хотя поправы были привычки, на то и переверот, чтобы уничтожить привычки, но его все равно сопроводили домой, подождали, пока он укладывал в ящик медикаменты; он укладывал их спокойно, невозмутимо, неторопливо, словно ничего необычного и странного не произошло, и не было ничего непривычного и необычного, не раз появлялись люди с винтовками, вели — если поднималась стрельба, если кого-нибудь убивали, кто-нибудь получал ранение — разговоры излишни, вели Элизбара Хетэрели. И сейчас он не старался разобраться в чем дело, ему было безразлично, водили бы они его по горам, по оврагам, бродам, по дремучему лесу, завели бы в амбар или хлев, ему это было безразлично, и конечно, ничему он не удивился. То же самое происходило в этот раз или случилось что-то другое, он не старался разобраться, не думал разбираться, когда ему, как и прежде, указали на хлев. Не удивился, когда толкнули рукой, и пнули ногой — тоже несколько не удивился, хотя это уже не было привычным, не случалось в его врачебной практике... В хлеву было темно. Из-за темноты и, должно быть, близорукости он не сразу понял, где находится, наткнулся на людскую стену, наткнулся и сказал: «Пропустите!».

«Куда, — отвечают, — желаете, где тут раненый или где тут больной? Болезням, которые нас забрали, твои лекарства не помогут, и куда, собственно, пропустить тебя?». Голоса показались ему знакомыми, глаза несколько по привычке к тем-

ноте, и с тем иссякла надежда, угасла последняя крупица надежды, если таковая была, надежда не на свое спасение, нет, на спасение этих, если где-то в глубине души он ~~в надежде~~ ^{надеялся} их спасти; угасла надежда, и он прислонился к дверям. Можно было постоять, пока втолкнут еще кого-нибудь, втиснут еще и еще; прислонился к дверям Элизбар Хетэрели, достал из кармана платок, снял пенсне, тщательно протер стекла, надел и тотчас же снова снял — помутнели стекла пуще прежнего. Может, в глазах помутилось? С еще большей тщательностью протер Элизбар пенсне, тер и тер, отключившись от всего и от всех...

И потом, когда всех вывели... Я забегаю вперед, да, забегаю вперед, боюсь, не смогу вернуться к Элизбару больше, и потом, раз тут обронил слово, значит, именно тут ему и было место... Так вот, потом, когда всех вывели в открытое поле и подвели к холму, «спасайся!» — шепнули на ухо и повторили раз, другой: «Беги! Спасайся!». А он, словно и не слышал, не пошевелился, стоял, не двигаясь и протирая стекла пенсне. Другие пустились бежать, сорвались с места, усеяли голый, выжженный солнцем склон и тут же упали как подкошенные. Один Элизбар стоял между карателями и обреченными, протирал пенсне, тер торопливо, но без тени ужаса или страха на лице. Его пальцы не дрожали, нет, они спешили дочистить пенсне. «Беги», — снова шепнули ему, «Беги» — шепнули, как бы стараясь вселить в него надежду на спасение; он не двинулся. И тогда они попятились, заорали дикими нечеловеческими голосами, и рев этот перекрыл грохот выстрелов. Элизбар медленно опустился на землю, медленно, не переставая чистить пенсне.

Иначе встретила смерть госпожа Евфимия. Она велела выкатить свое кресло - коляску на балкон (сперва приказала смазать колеса — так легче катить), да, велела выкатить и осталась на балконе — здесь, говорит, мне лучше, отсюда хорошо виден Кавкасион, очень хорош Кавкасион отсюда, величествен, красив, и ручей, говорит, тоже хорошо отсюда виден, балкон выходит на довольно большой ручей, старый балкон со слегка расшатанными перилами и подпорными столбами. Ночью и Кавкасион не было видно, разве что шумел ручей, шум его и из комнаты можно было слышать, но она все же не покинула балкона, здесь ела, здесь пила, здесь доканчивала последнюю часть истории рода Катарели. Длинная палка лежала рядом, у стены. Она часто на нее поглядывала. Почему? Зачем? Вдохновение, что ли, черпала, воспоминания ли оживляла или что-то в этом роде, словом, смотрела то и дело на палку, доканчивала историю рода Катарели и улыбалась своим мыслям, наверное, или воспоминаниям. И няня ласково улыбалась ей в ответ, улыбнулась она ей и тогда, когда прочитала необычную тревогу на ее лице. «Уже?» — спросила госпожа Евфимия и засмеялась как-то радостно. «Идут?» — повторила она с прежней улыбкой на лице. Няня слегка кивнула головой, едва заметно кивнула. Никакого другого ответа госпожа Евфимия не ждала, и расспросы — кто идет и почему — не имели смысла — приближался, приближался, приближался грохот сапог, стук подкованных сапог, приближался и прибли-

зился. Кормилица заслонила ее собой, содрала с себя черный платок, нагнула голову, что она собиралась предпринять, трудно сказать.

Евфимия ухватилась за палку, подняла ее с просветленным лицом, подняла, уперлась концом о стену и оттолкнулась обеими руками, как лодочник веслом отталкивается от берега, обеими руками и изо всех сил, и сдвинула кресло, сдвинула, сорвалось оно с места, кресло со смазанными колесами, натолкнулось на перила, на расшатанные перила, разломало их.

Госпожа Евфимия в кресле-коляске упала во двор...

На балконе осталась последняя глава истории рода Ката-рели, налетел ветер, растрепал листы, рассыпал по балкону, потом унес невесть куда.

Так ждала и встретила их госпожа Евфимия.

Георгий Оцхели встретил их иначе, он, собственно, их и не ждал, не поверил, когда приказали следовать за ними. Куда? — спрашивает. Объяснили. Все равно не понял, переспросил. Снова объяснили, и снова не понял или не поверил — что там было не понимать?! Не поверил и снова спросил, когда они разъярились, разгневался и Оцхели. Я, говорит, все деревне, миру пожертвовал. Эти его схватили, тот шум поднял невообразимый: выгляни, мир, взгляни, в каком положении верный твой сын. Мир не выглянул. Тогда Георгий принялся объяснять, какое добро сотворено им для мира, в каком долгу перед ним деревня, не дали, прервали. Пошли, говорят, там расскажешь. Добро, пойдем, отвечает, разберемся. Это уже походило на угрозу, не на покорность, но на угрозу, ясно. Сегодня же вернусь, он повернулся к сыну и прибавил с той же угрозой и с надеждой, да, с надеждой, именно с надеждой на возвращение. Повернулся, говорю, к своему сыну, должно быть, вы догадались, что сын его вернулся. Вернулся истый молодец, загляденье, кто хоть раз его видел, глаз не мог отвести. В придачу был он воспитан, сдержан, просвещен на редкость, словом, таким мир мог гордиться, народ мог гордиться. Что можно сказать еще? Одно: он только-только вернулся, и не успели отец с сыном утолить жажду встречи, еще не исчерпаны были ответы на первые вопросы — так вот, отец сказал: «приду и продолжим», разве что лишь как надежда это звучало в самоуверенном обещании. Они говорят: он тоже должен пойти с нами. Как бы не так, отвечает, еще чего?! Чего? Да того! И в этот раз ничего не понял ученый, просвещенный человек, который изучил историю человечества, посвятил себя философии. Вы ошибаетесь, говорит, что-то путаете. Ничуть не бывало, нисколько мы не ошибаемся. Он мой сын, возражает, он расстался со мной почти ребенком, он только-только вернулся. Не беспокоя себя объяснениями, говорят, ничего не выйдет. Мы свое дело знаем, ты знай свое. То есть как? — спрашивает. А так, пошли. Пошли, — пригрозил снова с прежней уверенностью. Но что с того, разве долго сопутствовала ему та уверенность, та надежда? Нет, не сопутствовала, недолго оставалась с ним, а как только толкнули его в конюшню, как только оглядел он находящихся там — все исчезла. Георгий тяжело вздохнул, прижал правую руку сы-

на к груди, прижал и не отпускал, всхлипнул и после ничего кроме всхлипываний от него нельзя было услышать.

Юноша успокаивал отца:

— В просвещенной стране не преследуют за убеждениями. Он успокаивал отца и остальных, тех, которые с сомнением покачивали головами, им же самим сомнение не владело, он глубоко верил в истинность своих слов, удивлялся, что другие ему не верили. Это об Оцхели. Кто еще остался?

Остались у нас еще: Арджевнэли, Итриели. Если пойти тем путем, которым шли они, прежде всего надо рассказать о событиях в семье Арджевнэли, но оставим их до поры в покое, сперва послушайте, что произошло с Итриели. Пришли и к ним, конечно, пришли те же, что гостили у них накануне ночью, поужинали и отдохнули у них во дворе. Тогда пришли не как враги, но как добрые гости, подошли к воротам и, понутив головы, вошли во двор; сейчас вернулись врагами, а раз вернулись врагами, остановились поодаль, окружили усадьбу и приказали сдаваться. Давид отвел женщин и детей глубоко в подвал, а парням приказал следовать за ним. Приказал, и они последовали, последовали и поднялись в башню, крепости у них не было, потому что они были здесь не старыми, не исконными жителями, и, когда они возводили дом, пристроили к нему с одной стороны башню. Получалось нечто вроде воспоминания о родовом замке, и вместе с тем она придавала новому зданию своеобразный оттенок старины. Были у башни и бойницы, и стены толстые, словом, настоящая башня, и оружие лежало там же. Там же они и собрались. Берите оружие! — приказал Давид и расставил людей. Расположились, высунули из бойниц дула винтовок. Один Ростом опустил винтовку дулом книзу.

— Я сдаюсь, — сказал он. — Если кто решил уйти, пусть уходит, хоть все — прикрою.

— Приказываю! — разъярился Давид.

— Но я не приказываю, — возразил Ростом, — прикрою, говорю, уходите, спасайтесь.

— Для чего?! — удивился Давид. — Поздно начинать жизнь сначала.

— А мне? — удивился Кахабер.

— А мне?! — прибавил Димитрий.

— Георгий и Бакар пусть уходят. — на этот раз приказал Ростом и просунул дуло в бойницу.

— Где вы... — начал было Георгий.

— ...и я там же, — опередил его Бакар.

— Уходите! — прикрикнул на них Давид.

— Быстрее! — процедил сквозь зубы Кахабер.

— Уходите, ребята, уходите. — взмолился Димитрий, — сегодня-то нас всех не уничтожат! Уходите, ребята, уходите!

И ни слова не сказали больше, повернулись к бойницам, эти двое, Георгий и Бакар, остались лицом к лицу. Только эти двое смотрели друг на друга, потом обнялись, положили подбородки на плечи друг другу, странно билось их сердца, странно и напряженно, отчетливо, только ни один из них не чувствовал, не слышал биения своего сердца, думал, что это стучит сердце брата. И один так думал и другой, каждый считал,

что брат подбадривает его, и вместе подняли они головы, вместе оглядели потайную дверь и, пока нагнулись, чтобы выбраться, оглядели спины прильнувших к бойницам, горячие слезы обожгли им глаза. Иного выхода не было, они вышли, растрворились, исчезли.

— Не убейте кого-нибудь! — приказал Ростом.

Ростом приказал и выстрелил первым. Его примеру последовали остальные, стреляли то часто, то изредка, ответные выстрелы были такими же частыми или такими же редкими, одиночными. Люди в башне продержались бы долго, во всяком случае, уходящий смог бы уйти, сдающийся сдаться. И сдались, открыли двери, вышли, бросили оружие. За беглецами послали небольшой отряд, но тем удалось уйти, этих бросили в амбар.

И вот мы подошли к Арджевнэли. Их не упустили из виду, ясное дело, и без того слишком долго кружили они над Саарджевно, дольше некуда. Надо было брать, содрать знамя Гурандухт с крепости Арджевнэли; надо было взять, и взяли сперва живую изгородь, ту самую живую изгородь, которую прошел с музыкантом и по которой вернулся Шахро Цискаришвили, чтобы вывести женщин, и вывел Назибролу и Елену с дочерьми. Гурандухт никуда уходить не собиралась, и Гулкан встемяшила себе в башку блажь, ни шагу, говорит, не ступлю, здесь испущу дух, в комнате моего Бардзима. Так-то! Цискаришвили не настаивал, и остались эти двое, мать и дочь, затерялись в залах огромного дворца, не успели затосковать, не успели испугаться одиночества, не было времени, в тот же день подожгли арджеванскую крепость. Подожгли, но ничего с ней не случилось, только знамя превратилось в лохмотья. Виднелось изодранное в клочья знамя из комнаты Гурандухт. Царапала себе щеки Гурандухт. Из комнаты Гулкан знамени не было видно, она и не царапала себе щек, не затыкала ушей, чтобы не слышать выстрелов, лишь время от времени нюхала нашатырный спирт, отгоняла запах пороха. Стрельба участилась, видно, не так легко поддавалась древняя крепость, пули не причиняли ей вреда. Атака оказалась безуспешной, не смогли атакующие пересечь оголенного русла реки. Пулемет, уставленный в крепости, косил их, только они подступали к гальке. С другой стороны было поле, голое поле, конечно же, и оно простреливалось. Много людей полегло, многие были убиты, многие ранены, и тяжело, и легко. Разъярились вконец, впали в неистовую ярость, озверели, бросили крепость, бросили крепость и ворвались во дворец, расхватали, что можно было схватать, разломали, что можно было разломать, но не сумели войти к Гурандухт, не сумели войти и к Гулкан, особых стараний к тому и не прикладывали. Не сумели войти, и подожгли старый дворец. Взметнулось вверх пламя, высоко поднялось в августовское небо, очень высоко. Августовского неба достигло пламя... Все равно не показалась Гурандухт, и на помощь не позвала, никто больше ничего о ней не слышал... Что вам сказать о Гулкан? Будь, что будет, должен сказать, о многих рассказано, и еще будет рассказано, почему же пропускать Гулкан? Так вот, она не сгорела при пожаре, не держала или хотела спасти портрет Бардзима, это неважно,

выбежала из комнаты с портретом в руках, выбежала и вырвали у нее из рук портрет, вырвали и изодрали о ее голову потом задрали юбку и — да исполнит вам господь все ваши сокровенные желания, как исполнилось пророчество, Бека задрали ей подол и показали то, чего она в жизни не видела. Изодранное знамя развевалось на крепости, больше ничего, ни звука не доносилось из крепости.

Крепость все равно надо было взять, надо было взять последнюю опору или хотя, какую там опору! Какая может быть опора у обреченных!

Как бы там ни было, крепость осталась непокоренной.

XVIII

Отступили.

Но в крепости не праздновали победу и в скорбном плаче не заходились, не отводили взгляда от пожара и не любовались им, впрочем, там, кроме одного человека, кроме Бека, не было никого. Прежде был еще один, у живой изгороди, приятель Бека, но как только подошли к изгороди, его и след простыл. Бека не знал, схватили его или убили, не знал и не старался узнать, самому недолго оставалось жить — не стоило раздумывать над чьей-то судьбой. Ветерок доносил запах гари, запах гари окутал башню, словно сама крепость горела. «А пусть и впрямь горит, — думал Бека, — что сегодня, что завтра, все одно — подожгут».

И Бека поплыл по течению. Хотелось спать — засыпал, ничем ему было, что могли схватить сонного; хотелось пройти по деревне — шел, не боялся засады; стреляли в него — он стрелял в ответ. А крепость все оставалась неприступной. Боеприпасов хватало, всего хватало: и гранат, и винтовок, и даже сабель и кинжалов, всего вдоволь, а человек — один. Ему было все равно, останется он или не останется в крепости. Отбитая атака нисколько его не радовала, он не хотел быть ни живым, ни мертвым, не опускал рук, но походил на человека, который опустил руки, словом, отдался течению.

Никто, значит, не праздновал в крепости победу. Сумеречным светом озарена была крепость, сумерки опустились, легли на нее, запах гари кружил вокруг, проникал сквозь бойницы. Пожар приутих, но пламя время от времени вздымалось вверх, разгоралось то тут, то там, рассыпало искры, светилось в красках заката. И это пустое, неважно, и в того, кого послали, краски заката или блеск сгоревшего дворца не вдохнули ни бодрости, ни разочарования не вселили, только навели на мысль — почему нарушили его уединение. Пришелец стоял в бурке, в башлыке, скрывающем лицо, закутанный с головы до ног, только ерзал, видно, задыхался от жары, видно, ждал, когда спросят, кто он, чтобы скинуть бурку и башлык. Бека ничего не спрашивал, и удивления не выражало его лицо. Постучали, он и открыл двери, открыл, не задумываясь, равнодушно. И молча пошел вверх, не предлагал следовать за собой. Пришелец последовал без приглашения. Бека поднимался. Пришелец следовал. Вышли на крышу.

Остановились в углу. Все еще были сумерки, и ночь обещала выдаться светлой, но пока ведь стояли сумерки, Бека не брал с собой коптилки, пришелец следовал за звуком его шагов, ощупывая рукой стену. Так они и вышли на крышу, он легко, пришелец — с трудом. Стало еще более душно, гость все равно не снял башлыка, не скинул бурку. Бека бросил свое тело на сваленные бурки, гость стоял, стоял и ждал, ждал, когда же спросят — кто он или что ему надо. Нет, не спросили, истощилось терпение, сползла бурка, упал башлык...

— Тэкла... — вырвалось у него, как бы между прочим — ни удивления, ни радости.

— Да! — воскликнула она, воскликнула восторженно: «да, это я, да, ты должен радоваться».

— Тэкла, — повторил Бека прежним или еще более вялым тоном.

— И это все?!

— Что еще?

— Я пришла.

— Да.

— Дальше?

— Что дальше, что дальше... — бессмысленно пожал плечами мужчина.

— Именно сюда.

— Или не слышала о сегодняшнем?

— Слышала....

— Ну так что же?

— Я думала, все будет иначе, — проговорила она грустно.

— Как именно?!

— Иначе, — она не объясняла, стояла молча, опечаленная и возбужденная, чуть вспотевшая, чуть раскрасневшаяся от ветра. — Не рад?!

— Не знаю...

— Разве это не решительность...

— Нет, почему же...

— Разве я тебе не нравилась?!

— Нет, почему же...

— Разве тебе не нужно сочувствие?

— Не знаю...

— Или мне вернуться обратно?! — И нагнулась женщина, чтобы поднять бурку, но не подняла ее.

— Нет, почему же...

— Остаться?!

— Тяжко тебе будет.

— Разве я не понимаю?!

— Не знаю...

— Многие не смогут понять.

— Не смогут.

— Мне понятно.

— Даааа...

— Мне понятно, говорю.

— Да.

— Боже милостивый! — возвела очи женщина и притаилась, словно прислушивалась к гласу небесному; прислушалась

и внезапно услышала некое повеление, или подхватили ее силы небесные, подняли в воздух, помчали к зубцам крепости.

Разве что и парня подхватили те же силы, преградили ей путь, прислонился спиной к зубцу. Женщина натолкнулась на него, заколотила кулаками в грудь, заколотила изо всех сил.

— Воля божья! — крикнула она. «Почему, по какому праву не пускаешь?» — означал этот возглас.

— Эээ... нет, — заупрямился тот.

— Отойди от меня!

— И не думай...

Женщина не сказала ничего больше, метнулась в другую сторону. И туда успел, преградил дорогу мужчина, выказал поразительную живость, силу, до того такой вялый и безразличный ко всему.

— Не делай этого!...

— Почему?

— Что это такое?!

— Расставание.

— Будет и так.

— Я спешу...

— Почему?

— Не стоит больше.

— Разве стоило?!

Женщина не ответила, только закричала, закричала протяжно, и ответ последовал издалека, откуда-то издалека-издалека, может, с истоков реки Арджевнули, донесся ответ, эхо, отзвук, невнятный отзвук. Снова закричала женщина, еще громче, еще протяжней, еще ожесточенней, может, ей не нравилась невнятность ответа, закричала, и на горы натолкнулся крик, зазвенел в горах, откликнулся звоном.

— Слышишь, зовут!.. — сказала она.

— Какое там зовут.

— Это божественно!

— Ладно уж!

— Или не веришь?!

— О чем ты?!

— Отойди от меня! Отойди!.. Вот что я говорю. Если есть в тебе сила — искоренишь зло. Не велико мужество — преградить путь женщине. Я жалею, что пришла... Не думала, что будет так, потому и пришла. Все сдались. Один ты не дрогнул, потому и пришла, я так думала и пришла, пришла и увидела тебя таким же, таким же сломленным, вялым, покорившимся судьбе, увидела тебя таким же, как тех, которых словно баранту загнали в овчарни. Таким же увидела: ты — одинокая, заплутавшаяся овца из той же отары, вот-вот загонят палкой в тот же загон. Нет, хромая овца уже не возглавит отару, то — поговорка, это — действительность. Увидела я горькую действительность, и отстань, отойди, отойдиининини!

— Отстань! Отстань! Отойди! — донеслось с небес, но не послушался Бека, схватил ее за руки, прижал к сердцу, прижал крепко, сжал пальцами, сильными, пахнущими порохом. Лицо женщины исказилось от боли, она попыталась высвободить руки, не смогла.

— На мне свою силу испытываешь?! — сказала она на-
смешливо.

— Какая тут сила?!

— Сила!

— Сила так сила...

— Или у тебя избыток сил?!

— Я здесь, чего еще...

— Почему ты такой?

— Устал... Сегодня здесь сущий ад стоял. Ушли, отстали, сник я как-то странно, устал, наверное. Что делать? Устал, — могло показаться, он сказал слишком много, дыхания не хватило, замолчал, но руки ее не отпустил.

— И вера твоя устала.

— Усталость едина.

— Так что же мне делать?!

— Тебе-то что?!

— Что? — женщина засмеялась, засмеялась недобрым, издевательским смехом и вдруг заплакала, прижалась к нему, обливая его грудь слезами; он стоял и слушал, как его оплакивают, словно покойника. Горьким был тот плач, более горьким и ужасным, чем плач по истинно умершему, кровь стыла в жилах. Мужчина онемел, словно и в самом деле его должны были упокоить среди крепостных стен, упокоить, оплакать покойника, уже истинного покойника, а не просто уставшего в боях человека, покинутого всеми, утомленного одиночеством — он онемел, руки у него опустились, в прямом смысле слова опустились. Женщина отстранилась от него, села на бурку, села, плача, и причитания последовали за плачем. Причитания, запруженные в сердце и хлынувшие вдруг. Она плакала потому, что родилась женщиной, плакала, что непременно должна на кого-то опереться, но не существовало опоры; либо она ее не находила, либо перевелась опора. Бродила она бесцельно, бродила сильная и безотрадная, ибо не обрела ровни своей, близнеца своего, не обрела его, не соединилась с ним, не испытала сладости исполненного желания; никак не столкнулась с непокоренным, нигде не смогла найти исполненного веры, которая гордую смерть предпочитает поруганной жизни, нигде не нашла, а без этого не могла. Она была женщиной, которую проклятье обрекло на одиночество, и она плакала потому, что родилась женщиной, плакала потому, что иссякли все надежды, плакала потому, что мечтала о смерти, плакала потому, что чуть было не решила наложить на себя руки тут же, когда решилась броситься с крепостной стены; она пришла сюда не для этого, «не для этого пришла я сюда, не то что свое, чужое малодушие мне ненавистно, твоя стойкость окрылила меня, я ведь сказала тебе об этом, только... Да, только и эту крепость сравниют с землей, такова ее участь, она обречена — да и тебя ожидает то же самое вместе с крепостью, ожидает смерть без потомства, смерть безвестная. Исчезнуть навеки написано у тебя на роду. Нет, ты не достоин этого!

Я думала: он должен жить, Он должен дать исток новой жизни, именно он, такой сильный, непримиримый, непреклонный. Я думала, думала и отправилась к тебе, окрыленная, —

причитала женщина. — Иной встречи я ожидала, иной, такой, которая под стать самопожертвованию женщины. — И прочитала, причитала. — Ты это или кто-то другой, горе мне, только ты, а никто другой... Дух твой не должен исчезнуть, сила твоя, радость твоя... Тебе уже не суждена жизнь. Что поделаешь, если не суждена, но не должна исчезнуть. Ты должен продолжиться, дать начало новой жизни, юной жизни, мне поручить ту жизнь, я думала. И во что вылились думы? Надежда? Неужели исчезла, неужели иссякла?!».

И причитала женщина, оплакивала злосчастную свою судьбу, и причитания растворялись во мгле, мгла поглотила краски сумерек.

И была тишина, и причитания крепости слышались окрест, причитания могучие и безысходные. Слышались, и еще можно слышать плач, или стон неутихающий. И стон тот похож на женский голос, молодцу стенания не к лицу, такой плач не к лицу. Но все равно удивляются, почему причитает крепость женским голосом, ничуть не удивляясь тому, что она вообще започитала.

XIX

Попричитала и умолкла.

И они отогнали тяжкие мысли. Арджевнула давно уж как высохла, тишина царила окрест, все погрузилось в безмолвие. Так не могло продолжиться, конечно, не могло продолжиться, и наступил конец великому покою, — завозились, захлопотали вокруг крепости, навели на нее пушки — со стороны реки и поля. Навели пушки, приказывая сдаваться. Крепость по-прежнему молчала, молчала, но это не было молчанием мига блаженства — женщина ушла, она пришла в сумерки, ушла на рассвете, уверенная в своей счастливой звезде, уверила она и мужчину, уверила, что ему не суждено умереть больше. И он остался один, сидел молча, бездумно, словно ничего особенного не ждало его. Крепость молчала, окрестности — нет. Грохот стоял вокруг оглушительный, и крепости не суждено было долго молчать, не суждено было. Гром загремел, загрохотали пушки, ухнули раз, другой... третий. Столбы дыма и пыли поднялись в небо, раскрошились зубцы, разломались бойницы, осыпались стены, и не стало крепости, только пыль столбом поднималась кверху, пыль заволокла солнце.

Шум достиг и конюшен, задрожали дощатые стены. Люди оживились, задвигались, зашумели, издалека-далека, из Саарджевано доносился грохот. Далеко-далеко, думали они, завязался бой. Один Ростом догадался, что это руют крепость. Ростом не поддался всеобщему переполоху, но и разубеждать никого не стал; пусть шумят, пусть радуются, пусть их не покидает надежда на что-то, бог знает, на что. Почему отнимать у людей последнюю радость, пускай тщетную да радость, минутное облегчение? Все это пока гремели пушки, говорю, потом затихла конюшня. Люди вновь притаились, вновь

начали задыхаться, того минутного облегчения словно не было вовсе.

Тогда и вызвали Ростом. Выходящим его видели, а возвратившимся нет. попрощались, проводили без слов, без слез.

Ростом завели в прокуренную насквозь комнату, прежде там было много людей, сейчас его встретил только один.

— Садись, — сказал он не строго, но и не с превеликой вежливостью, просто, по-домашнему.

Ростом его сразу узнал — учились вместе в гимназии. Закадычными друзьями они никогда не были, потом разошлись, если встречались, то редко, не удивлялись и не радовались встрече, не испытывали сожаления при расставании. «Командировали, должно быть», — заключил Ростом.

— Ты как сюда попал?! — это он тоже спросил просто, по-домашнему.

— Не все ли равно?! — в тон ответил Ростом.

— Слышал о карте, полагаю? — Командированный развернул на столе карту музыканта.

— Пустой повод. Пользоваться такими наивными планами никому не придет в голову. Детский рисунок, рисунок юноши с болезненным воображением. Легко могу вам объяснить, Легко могу убедить. Вы перед нами извинитесь за недоразумение и отпустите домой.

— Ха... ха... ха... — засмеялся командированный, — Сможешь убедить?

— Не смогу, разумеется, это только моя мечта. Так должно быть, когда все в порядке, но далеко до порядка, и тщетно желать этого. Можете смеяться веселее, мечтатели смешны.

— Ха... ха... ха... — однако он не засмеялся веселее, засмеялся как в первый раз. — Кто упустит из рук обличительный документ?! Сочинили бы, если бы ничего не нашлось?! Хотя нет, кто бы сочинил?! Нет, такого никто не сумел бы сочинить, никто. Во всяком случае я. Милость судьбы, — он провел рукой по чертежу молодого композитора. — Ха, ха, ха!... Милость судьбы...

— К кому судьба милостива, к кому — насмешлива.

— Человек кузнец своей судьбы, — сказал он твердо.

— Леко Таташели и выковал себе судьбу, от его имени войдем в историю и мы, и этот юноша...

— Даже на историю надеетесь?!

— Нет, я просто так говорю. Не то, — какая уж там история? Вы объявите о ликвидации банды, и — конец делу. Но все же... Все же есть у истории нечто незримое, нечто свое, собственное, которое никому не дано постичь.

— Историю пишет победитель...

— Потому она и меняется так часто. Победителей великое множество, история — одна, она изменяется и вместе с тем неизменна вечно, она убивала и ее убивали... Сперва ты убиваешь, потом тебя убивают, то же ожидает и твоего убийцу, и убийцу убийцы ожидает то же. Отвернется от этого сплошного убийства сама история, всплывет на поверхность и Леко Таташели. Не удивляйся. Кто ведает, каков ход времени?

— У нас дискуссия получается.

— Она тебя раздражает?

— Нет. Я позвал тебя не для этого. Слушай. Вас должны повести в горы.

— По дороге крикнут: «Бегите!».

— Дай досказать!.. Пусть так. Ты не ходи. Как только выведут, скройся тут же за конюшнями. Не ходи, потом не удастся.

— Ничего не выйдет.

— Я советую, ничем больше помочь не могу.

— Почему такая забота?!

— Как-никак за одной партией сидели.

— А когда у тебя не достанет в счете?! — усмехнулся

Ростом.

— Присмотри за собой... — нотки раздражения прозвучали в голосе командированного.

— Спасибо! — Ростом поднялся. — И в самом деле поразительный случай, поразительная милость. Но чтоб ты знал: сбежать я и раньше мог, раньше сподручнее было бежать, достаточно было времени и возможностей, только некуда бежать, некуда было и не будет, это яснее ясного. Скрыться легко, спрятаться — пустыки. Но что толку прятаться живому человеку? Сказано даже: невернувшийся домой все равно что мертвый. И хорошо сказано, правильно. Мое место дома, мое место в бою за свою отчизну, за свой народ, исключительно за свой народ, другие сами знают свое дело. И вот угасли волнения или бои, ветер стих, народ сломился, или помутился его разум от великих обещаний. Мне уже нет среди них места, ничем уже не могу помочь, не сумею заставить свернуть с ложного пути, не будет у меня никакой к тому возможности. Умерла нация, мертва. Если народ не заботится о свободе, он мертв, говорили в старину. Не я сказал, не я дошел до этой истины, и не со мной она упокоится. Так вот спрашивается — какой из меня деятель на этом огромном кладбище? Могильщиков и так предостаточно. Нет здесь мне места больше, значит, нигде нет, я в данный момент и не живу; ни во что не вмешиваюсь — молчу — слушать некому. Молчу, понятно, раньше слушали, и я говорил, не слушают — и я молчу; в чудеса мы вообще никогда не верили, сами же уничтожили всякую веру, ничего не оставили такого, чтобы хотя бы в минуту обреченности можно было подумывать, очнуться, опомниться.

— Пустые слова!..

— Я объяснил.

— Все же лучше присмотреть за собой.

— Я тебе объяснил.

— Ты всегда был упрямым.

— Неисправим человек.

— Но я советую.

— Благодарю, — со сдержанной гордостью сказал Ростом, вышел неторопливо, с достоинством, но затем дали трещинку гордость и твердость, мысли ужаснули его. Он и без того раздумывал много и долго, он был сыном тревожного времени, времени поисков. Мысли были раскалены, разум горел, раздумья сжигали мозг, многообразные, многоликие, порой прямо-противоположные, трудно разрешимые, неотвратимые, но сейчас Ростому было трудно как никогда — может по-

ослабла сила воли или в чем дело? Ростом не понимал в чем дело. Он стоял или его поставили перед великим искушением, собственно, никаких мыслей не было, было одно великое искушение, грозное и беспощадное: если не устою! Если не устою!.. Если не устою!.. Одна-единственная мысль сверлила мозг. Она не могла возникнуть сама по себе, кто-то должен был натолкнуть на нее, и натолкнули, потому, наверное, чтобы последние минуты жизни стали еще горше. Но, думал он, ведь это благо, невероятное благо в такое время. Увы, в какое только обличье не перевоплощается искушение, кроме обличья блага, добра?! Хотя, впрочем, оно всегда являлось во образе добра, всегда растекалось любовью, расстиралось нежностью и чистотой, и ошибался безошибочный, грешил безгрешный, исполнялся пороков непорочный. Перед ним, Ростомом, искушение бессильно, пройдошливость его жалка. До последних минут так будет, последняя минута особой природы, особой, она ужасна, она потрясала душу, и разлучалась потрясенная душа с гордостью или волей, разлучалась и опускалась. И рождалось само небытие и сама тщета жизни, и бывала поругана славно прожитая жизнь! Изыди сатана!.. Изыди!.. Изыди!.. Многие размышляли так, и похлеще, пока не наступала последняя минута, размышляли и хватали искусителя за горло, вроде и душили его, но сами же пугались, решив, что воистину душат добро; в образе добра явилось искушение или, может, самое доподлинное добро; пугались и отпускали наполовину задушенного соблазнителя. Этот страх или ощущение неопределенности ослабляли человека, твердость и воля скисали, ничего не оставалось, кроме покорности, а искушение, оказывается, — покорность, ничего больше, покорность. Изыди, сатана, изыди!.. Разве что прожитые годы помогли, ибо покрыл туман искушение, явленное во образе добра, обмыл росой и вскоре снова вытащил очищенное туманом, сверкающее, привлекательное пуще прежнего. Ростом расстегнул рубаху на груди, словно посадил за пазуху податливый дух доброты, приласкал. Затих сам, затаил дыхание, закрыл глаза, закрыл глаза, и привиделось, как покотился в пропасть, покотился с поразительной, невиданной дотоле скоростью, пронесся между острыми пиками скал, но не получил и царапинки; увидел еще, как удивленно смотрели на него сверху люди, пораженные неслыханной скоростью, смотрели, но ничего лица он не различал — глаза, одни глаза, широко раскрытые, вытарщенные, готовые вывалиться из орбит. Изыди, изыди, сатана! Тут что-то завопило в голове Ростома, словно пробило клапан, брызнуло бельмо фонтаном, бельмо разума, и расчистился разум! Нигде признака добра, нигде образа его привлекательного, нигде пропасти, окруженной острыми как копыя вершинами, ни изумленных, готовых вывалиться из орбит глаз, ни глаз, опущенных печально. Так что же? Он по-прежнему находился там, в конюшне, тут же были и остальные, дядья его и прочие, при тихие, скисшие. Видение отошло, в черепе по-прежнему вопило, и пусть вопило!.. Если смолкнет, повторится видение. Изыди!.. Нет!.. Не отстраняй меня, не предавайся сомнению, именно в этом коварство судьбы, если не можешь отличить

добро от зла, если в добре привиделось тебе зло, в чистоте порок, в спасении — погибель. Не отдавайся во власть коварной судьбы, узри истину, веруй в спасение, в спасение веруй, веруй в спасение. Помутившийся разум — не малодушие и не покорность! Возвеличь дух древнего народа, дух бессмертия! Возвеличь слово, слово величия, слово богов, возвеличь! Иначе кто же поведет народ? Я? Ты? Я? Ты?! Ха... ха! Кто поведет это жалкое поколение, которому недостает ни разума, ни гордости, ни силы? Я уже не буду годеи для иного поколения, подойдет старость, или вообще его не застану. Я кончил свою жизнь, мертвые не борются! Отошел, довольно... Поверь! Нет, не отошел! Поверь, Жизнь не повторится, тебе уже нельзя жить, вечность не для тебя — ничто не вечно, вечно — ничто, только это — твое, тебе уже нельзя жить, тебя не будет, не будет! Знаю и без тебя. Не торопись, береги, это бывает однажды, не будет больше, не повторится, кончилось, завершилось, береги, прими милость судьбы, прими ту милость судьбы!.. Изошел сатана! Изошел!..

И дядья его окружили, что случилось, спрашивают. Окружили его и другие, он ничего им не мог ответить, горела голова, вопило в голове, холодный пот стекал по плечам и груди. Ему отерли пот, отлегло от сердца, он горько улыбнулся и махнул рукой. И остальные махнули рукой, вздохнули, кто разом, кто по отдельности, многое выдохнули с тем вздохом и переее всего — тяжкое горе.

«Воля твоя, я свое сказал, остальное сам знаешь». «Ты опять здесь?!». Остальное сам знаешь, говорю, время до последнего часа у нас еще есть, последний час делает свое, тогда мысли потеряют остроту, изничтожится воля, потеряется мужество; перестанешь помнить себя, попадешь под власть слепого инстинкта, и уже ему одному известно, куда швырнуть тебя или куда вывести. Не ослепляй себя, поверь мне, пока еще соображаешь! Поверь мне, не доводи себя до слепоты, поверь мне, выбери лучшее, выбирай жизнь, выбирай спасение, разумно только это! Выбирай, выбирай! Чего ты от них хочешь? Им тоже предоставь право выбора. Мне больше не по силам... До последней минуты, до последней минуты...

Трудно было до последней минуты. Последняя минута оказалась не такой ужасной. Другие больше были озадачены: «куда нас ведут в такое время? До вечера до Гори не добратся, а ночь темна и беспощадна». Солнце заходило. До сумерек они миновали бы проулки или проселки, но на столбовую дорогу не вышли бы, никуда бы не сворачивали — шли бы прямо на восток; вели бы их, вели до тех пор, пока прогнется гора Преображения. Хотя да, как же это получается? Выходит, будто гора может прогнуться! Нет, конечно, она, должно быть, прогнулась в незапамятные времена, склоны ее с трех сторон были оголены, и между ними образовался прогиб. Они вошли бы в ту расщелину, там же остановился бы конвой, крикнул — «спасайтесь!» и... Не будем загадывать, кто бы успел перебежать голые склоны. Факт, что тогда наступила бы последняя минута, ни раньше, ни позже, именно тогда, когда бы они крикнули — «спасайтесь!».

До того у него было время. Выводили их поспешно, живо собирали в ряд, собирали злыми окликами. Конвой был невелик, заключенных много, проулки были узкие, узкими были и проселки, узкими и короткими, они переходили в другие проулки или проселки, или в амбар, или в хижину, во что-то такое, за чем можно было внезапно укрыться; он то и дело оглядывался и кричал: «Ку-ку, я здесь!». Это была горькая и к тому же последняя уловка искусителя. Ростом выдержал, оглох и онемел, как бы перестал существовать, шел молча, неторопливо, хотя его подгоняли. Медлили остальные, и он медлил. Не спешил никто, ни у кого не лежало сердце к этой дороге. Пусть кричали конвойные, сколько угодно кричали, орали, пусть. Никто никуда не спешил; да, пусть кричали и искуситель выглядывал откуда угодно. Выглянет, подмигнет, погрозит пальцем, засмеется — что смешного во всем этом, какое такое потешное зрелище?..

Неожиданно кто-то дернул его за рукав рубахи, он подумал, что это опять он. Он не смог его заманить и теперь хочет потащить силой, подумал и вырвал руку, взмахнул рукой и кого-то ударил локтем, ударил больно, вскрикнул этот кто-то — не он, ясно, не искуситель, искуситель не вскрикнет, потому Ростом и оглянулся тотчас же, оглянулся сочувственно, чтобы извиниться, и столкнулся с тем, с тем странно исчезнувшим гостем! Столкнулся с ним, но с трудом узнал, надломился он за эти несколько дней, опустился, выглядел подавленным на редкость.

— Ты тоже сюда попал?! — спросил он без особого удивления в голосе.

— Да... — шепотом ответил гость.

— Да-а-а-а, — протянул Ростом, протянул или глубоко вздохнул.

— Не моя вина... — продолжал шепотом гость.

— Знаю, знаем....

— Леко...

— Знаю....

— Я не мог себе представить!

— Знаю.

— Проклинаю день, когда вбил себе в голову это путешествие.

— Знаю.

— Господин Георгий...

— Знаю.

— И о том, верно, знаете?

— О чем?

— Повесился Леко.

— Несчастный... А где он нашел веревку?

— На штанах повесился.

«Ку-кууу!» — послышалось явственно, послышалось отчетливо, и даже глаза сверкнули из церковных развалин, развалин, небольшой церкви, с каменными крестами вокруг, с каменными крестами могил, за которыми беспорядочно рос кустарник. Еще ярче заблестели глаза, метнули лучи, мощные

лучи, которые не в силах было выдержать человеческое сердце. Велика важность — человеческое сердце! С ним ли считаться?! Ростом выдержал, не подогнулись у него колени, да и другие шли, все шли, и он следовал за ними, никто не спешил, не спешил и он. Показались голые склоны горы. Они все шли и шли. «Быстрее», — покрикивали конвоиры, но никто не прибавил шагу, не спешили.

Колонну оборванных людей остановили на перекрестке, сбили в тесную кучу, окружили. Появилась надежда. Посмотрите-ка — все еще теплился в их сердцах луч надежды, луч надежды в сердцах людей, обращенных в прах. Вот если заставят нас повернуть направо, ведь направо дорога в Гори... Повели их и впрямь к горийской дороге... И впрямь, говорю, но с точки зрения обреченных людей. На самом же деле все обстояло иначе: до горийской дороги был еще один проселок, потом холмы и прогиб... Да, уже сказано, остановили колонну, сбили в кучу и пересчитали — одного не хватает, еще раз пересчитали, действительно, подтвердили, одного не хватает. Нет, Ростом был на месте, огляделся, выискивая, кто бы мог спастись. Оглянулись и остальные, никого не заметили, ни о ком не подумали, все вроде были на месте. Оглядели толпу и конвоиры, никуда не побежали, не стали искать и этих подгонять не стали, подождали: показалась арба, на облучке сидел аробщик, напевал вполголоса аробную песнь, так и приблизился к ним, напевая вполголоса, приблизился, и окликнули его тотчас же конвоиры, изволь, кричат, слезть со своей арбы, изволь слезть, приказали, и слез, становись, приказали, с ними, аробщик присоединился к колонне, и тронули колонну, снова — вперед к горе.

— Вы куда, люди?! — спросил аробщик.

Ему не ответили.

— Идете куда, а? — снова спросил аробщик.

В ответ никто не промолвил ни слова, тишина царила, нарушаемая мерным, ровным, однообразным звуком множества шагов, слившихся в один однообразный звук, звук, похожий на плач.

— А я-то почему? — снова простонал аробщик и ударил себя кулаком по голове.

— А нас-то почему? — спросил кто-то или никто не спрашивал. Отсчитывали последние шаги, бессильные шаги.

* * *

На рассвете в квартире Георгия Канчавели зазвенел звонок, зазвонил протяжно, громко словно кто-то грозился ворваться в дом, если не откроют. Не открывать дверей в таком случае бессмысленно, открыли, конечно, поспешно открыли дрожащими руками. Открыли. В дверях стояла женщина, сонная, испуганная, встревоженная, во дворе — привидение, привидение, вот-вот упадет, вот-вот исчезнет.

— Я... Я... — мяукнуло привидение.

— Ты?!



— Ни... Ни... Ни... куша... — выдавил он наконец.
— Боже!—женщина закрыла глаза, пошатнулась.
— Господин Георгий...—выдохнул пришелец, который, чем уже не напоминал прежнего Никушу.
— Увели... — голос у женщины сорвался.
— А?!
— Увели, — едва слышно повторила она.

И закачался, и упал как подкошенный путешественник. Он не открывал ни полюсов, ни пустынь, ни океанов, ни джунглей, ни неведомых стран, нет, он обошел маленький уголок страны, которая гордилась своей древней цивилизацией. Обошел он тот уголок, вернулся и упал на порог, на порог дома своего учителя, упал более усталый и измученный, чем исследователи полюсов и пустынь, океанов и джунглей...

Перевод Нодара ТАРХНИШВИЛИ





Бесик ХАРАНАУЛИ



ЛИРИКА

Истинного поэта тотчас отличишь в легионе ищущих поэтов. К каким только уловкам не прибегают иные из них, чтоб обрести это заманчивое имя, а настоящий поэт, едва произнесет первое слово, уже говорит на языке, нацеленном скорее на душу человека, нежели на его слух. Потому-то многим и кажется, что он «легко», чуть ли не «готовым» получает то, на что другие тратят энергию, способную сдвинуть горы. Но так или иначе, факт остается фактом: родился новый поэт.

Так родился десять лет назад и поэт Бесик Харанаули. Десять лет в «просторах вспаханных полей бродит мальчуган», взъерошенный, как петух, согнанный с швав-

ского ковра, гордый и непреклонный, с сумой, в которой он несет свои собственные радости и печали, свой смех и свои слезы, и которые он щедро дарит всем встречным.

Но не скудеет от этого его сума, наоборот, прибавляется в ней добра, ибо такова природа поэзии.

Я поклонник таланта Бесика Харанаули, он не оставляет меня равнодушным, и я искренне рад щедрому урожаю, который он собирает в поэзии.

Так пусть и за пределами родной земли следуют за его стихами звуки отчизны и теплая и мягкая, словно пеленки младенца, пыль наших дорог.

Отар ЧИЛАДЗЕ.

Ведь это радость —
 Дать обмыться человеку,
 Посадить за стол
 И накормить едой горячей,
 Ладонью подпершись,
 Смотреть и видеть,
 Как появляется в глазах его
 истома,

Сила в теле,
 А в душе надежда.

Пшавского солнца поступь

I.

Снова с пашен земли родимой
 Стая синих ворон взметнулась,
 Опостылел ей край туманный.

Оставь ты меня в покое,
 Оставь ты меня в покое.

Пшавская женщина, водки
 Налей и скажи при этом:
 «Я могу умереть для тебя».
 Как исцеленье, мне нужно
 Эти слова услышать,
 Для того и пришел я сюда.
 Но чужим меня не называй ты,
 Так как там, откуда бежал я,
 Сказал, что на родину еду.
 Пшавская женщина, водки
 Налей и промолвь при этом:
 «Я могу умереть для тебя...»

Кто-то листья жжет яблонь у
 хлева!

Постели мне постель поскорее,
 Хочу умереть где родился,
 Хочу умереть там, где должно!
 Как на горе Гузумбатской
 Раненый дикий кабан
 Прощается с буковым лесом,
 Так и я спешу прикоснуться
 К каждой струне звенящей.
 Постели мне постель поскорее!

Пшавская женщина, водки
Налей и скажи при этом:
«Я могу умереть для тебя».
Как исцеленье, мне нужно
Эти слова услышать,
Для того и пришел я сюда.

На ковре твоём пестром петух
Выткан руками твоими.
Я — тот петух, который
С ковра твоего, тоскуя,
Вниз незаметно спустился.

2.

Снова с пашен земли родимой
Стая синих ворон взметнулась,
Опостылел ей край туманный.

Оставь ты меня в покое,
Оставь ты меня в покое.

Люди смотрят наверх, на небо,
Милости ждут от солнца,
Мы же вдвоем с тобою
Здесь для того, чтоб не меркли
Слова, обращенные к другу:
«Я могу умереть для тебя».
Люди смотрят наверх, на небо,
Милости ждут от солнца.
Мы же вдвоем с тобою
Идем через мост, через площадь,
Проходим по улицам шумным
И без конца повторяем:
«Я могу умереть для тебя,
Я могу умереть для тебя,
Я могу умереть для тебя».

Я тот петух, который
С ковра твоего спустился.

3.

Тот город, в котором жил я,
Чужим мне тогда не казался.
В пыли я не задыхался.
Был я к семье и к службе
Привязан короткой веревкой,
Которая удлинялась так странно и непривычно
Тогда лишь, когда был пьян я
Или в часы мечтаний.
То бывало время расплаты

С каждым,
И даже порою я мог раздавать награды,
И к тебе я не раз являлся
И рядом садился,
Но только, скажи мне, куда девался
Огонь, что другим отдала ты,
Зажгла, как цветущие ветки
Персиковых деревьев...
Скажи, неужели даже
Искры одной не осталось?..

Ненасытные жадные куры
Расклевали меня, растащили.

* * *

Я закрою глаза
И усну очень сладко,
Потому что возьму тебя пленницей
В сон мой.
Осторожно прикрою веки,
Чтоб уйти не смогла.
А наутро слёзы мои
Отопрут тебе двери...
Лети.

* * *

Когда придёт очищения час,
В чём должны мы покаяться,
Хотелось бы знать?
Все грехи свои вспомнишь, несчастный,
И вдруг
Про чужие узнаешь
И ужаснёшься.

* * *

Что тебя радует, роза декабрьская?
Разве не видишь ты сад опустевший
И голых деревьев ряды?
Не лучше ли было родиться тебе
Где-нибудь в стороне другой...
А если мила тебе эта земля,
Не могла ты дожждаться весны?..

* * *

Есть минуты,
Когда среди ночи тебя
Вдруг неясные звуки какие-то будят...
И теряясь,

Ты сразу не в силах понять,
Что они тебе напоминают:
То ли цокот копыт,
Оставшийся в памяти с детства,
Чувство страха,
Когда шумят деревья листвою,
Или стук каблуков
И волненья студенческих лет.
Есть минуты,
Когда среди ночи тебя
Вдруг неясные звуки какие-то будят...
И ты лишь позднее
С трудом понимать начинаешь,
Что это, наверно,
Биение сердца Земли.

* * *

Февраль. Долина Иори.

На жёлтом листе осеннем
Лицо моё нарисовано.
О ласке твоей, Маринэ,
Оно тоскует.
Прикажи мне,
И камни огромные
На вершину горы крутой,
Маринэ, понесу я...
О, если б лежать мне сейчас
На дне моего Иори,
Чтоб звёзды смотрели вниз.
Как был бы я счастлив...
В небе — луна
Я — в реке,
А на краю села
Февраль притаился в деревьях.
Звенели бы звёзды в небе...
И мысль о тебе напряжённая
Ко мне приведет тебя,
Маринэ,
Этой ночью...
Смотрю я на город сверху,
Взгляд мой крыши с домов снимает.
Вижу я,
Спит спокойно лишь тот,
Кто знает,
Что день проведёт в заботах
О ночи спокойной.

Смотрю я на город сверху,
Смотрю, как в котёл огромный,
Смотрю на дома без крыш.

Щенком настороженным вслушиваюсь
В шорохи этой ночи.
Маринэ, помоги мне, взгляни,
Маринэ, я повержен на землю,
Лунный луч мне на грудь наступает...
Озаряет сиянье луны
Грузии синие реки.

Бродит конь в долинах Иори,
Бродит хромой и тощий.
И никто, никто в целом мире
Не видит его кроме волка...
Горит огонь в очаге...
Так мучительно видеть друг друга,
И всего лишь смотреть друг на друга.
Маринэ, я хочу окунуться
В твой розовый зной палящий
И ладонями листьев осенних
Выпить слез твоих сладкую горечь...
Как снегом,
Руками твоими
Осыпь мои волосы лаской.

Волны Иори бегут,
И вместо воды в них иглы,
Раскаленные и ледяные.
Потоком они несутся,
И горе тому, кто захочет
Вброд перейти эту реку
И в сторону леса пойти.

Бродит конь в долинах Иори,
Бродит хромой и тощий.
И вдруг среди миллиона и миллиарда льдов
Слышится крик: «Здесь я, брат!».
Как бодро звучит этот голос,
Как сладко звучит: «Здесь я, брат!».
Из леса бежит сельский нищий,
С цветами бежит, Маринэ!..
Скажи, разве надо нам видеть
Эти сны волшебные снова,
Если, когда мы проснемся,
Все остается прежним!
Возможно ли,
Чтоб бубенец звенел
Колокольным звоном?..
Ночи клочок,
Маринэ,
На шаль ты себе оторви,
А когда я умру,
Посмотри
Вслед улетающим листьям.

Проводи ты взглядом
Прощальным
Лист осенний,
Как маску мою.



* * *

Все это было в прошлом году.
Как хорошо,
Что это случилось в прошлом году,
А сегодня начало апреля,
И никто, никто —
Ни сам я и ни другие
Моего не коснулись покоя.
Никуда мне не надо спешить,
Сажу себе тихо
И точку карандаш.

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ

Путевые зарисовки бродячего пса

1

Об эту пору куры взнимаются.

2

Трюхаю...
семеню...
А между тем страх и бескормица —
несущие плоскости —
крылообразны.

3

Вечер томный,
вечер чудный.
Об эту пору сильные мира сего
выгуливаются...
Руки назад заведут —
и обмениваются мнениями
по вопросам эсхатологии...

4

Трюхаю по стеночкам,
предупредительно внюхиваюсь
во внутренности дворов...
Будто путь мой целенаправлен,
так избирательно озирюсь:
не то,
опять не то!

Габаритный, накормленный пес
со знанием дела расписывается на фасаде.



5

В гетто некоторые толстеют.

6

Под деревом котят,
пестрые, как анютины глазки.
Хозяйка швырнула,
да тьма не пожрала.
Трюхаю...
Постелите, постелите мне ложе сострадания!

7

Страсти тем горячее,
Чем острее булат!

Из двора вылезла заинтересованная сука.
Ну, я надал.
А за ней, оказывается,
следовал скорый кобелиный состав —
снизкой, связкой.
В продолжение ночи зализывался.

8

Ты теперь богвестькогдашняя,
любимая моя,
и грезишься в любой хорошенькой...

9

Полнолуние, понимаешь ли...

10

И лакнул-то два разика,
а он — хрясь!
Так мало, еще обложил вдогонку...
Наше бытие —
автоматизированный пинок,
душенька моя!
Жизнь наша —
глоток,
которого не хватило!

Лапа саднит.
 Надо осмотреться.
 Я, ей-богу, как та птаха:
 десять раз слетит,
 раз клюнет.

12

Каждый дудит в трубу страха, вот что.
 Трюхаю...

13

Светотень...
 Эх, жизнь полосатая!
 Дядька на перекрестке явно дрейфит,
 и я не меньше.
 Расшаркались, чисто маркизы,
 разбежались.
 Ночь.
 Смеясь, ощерился,
 и в щербатой пасти
 засияли звезды, как фиксы.

14

Бесцеремонно кидаем в чрева пищу,
 как, скажи, музыку —
 в спящую улицу.
 Вот, пожалуйста,
 обварил пищевод какой-то гадостью.

15

И к этой-то жизни надо подлизываться!

16

Я, круглая луна и острые звезды
 сообща глядимся в лужу...
 Там же встречаем
 улицу, зеленые насаждения и фонарики.
 Мы невозмутимы и неразделимы...
 Ни фига-то нам не страшно.

17

Нынче ночью каждый кабысдох
 забылся головой на луне.

После стыда



I

Ты от меня отвернулась,
Мария...
Насовсем, насовсем?!
В твой подол слетается листопад,
и мне некуда положить голову,
кроме как в лужу.
Пьяный спит на мостовой,
и ветер заботливо подтыкает себя
под его бока...

Как родился я,
луна распустила пасмы траурно,
а жеманные звезды прикусили губки.
Повитуха же всех уверяла,
что я родился!
Но ты здесь ни при чем,
Мария,
ты здесь не повинна...
А меня распластает машина.

Это — не что иное, как город,
где тоска
душит пуше воротника,
который застегнут
потому, потому что
надо сползти с теплого лежбища одиночества,
выйти на только что политую улицу
и, голову запрокинув, произность:
—С добрым утречком, утро!
Опять с меня взятки гладки!
Не скорми меня кому попадая
и не вынуди христарадничать!

Не похоже ли серый зверина на взгорбке
взывает,
отпугивая зарю от луны,
остаться взывает,
как любимую,
и тепло на груди, там, где льнула,
Отольнет...
День и ночь отольнет,
и луна отольнет, вызывая отлив,
и любимая...
Жизнь отхлынет
в Аллею Прожитых Чувств,
разминется, минует.

И ты — насовсем, Мария'
Я тобою запамятован,
я посеян, как брошь,
и концов не найдешь,
и рукою махнешь,
с губ слизнешь,
будто привкус прогорклый,
имя мое,
отольнешь и минуешь,
как город, пройденный насквозь.

II

Вид на жительство выправлен,
место жительства легально
для земли, чтоб высасывать соки,
для боязни долгов
и для долгов наших.
Лишь любовь обминулась на этой дороге,
и я сам не наставил на путь ее,
раз уж написано на роду,
что по запаху крови
все меня обнаруживает в свой срок.
Окна вынесены мои,
петли дверные выворочены,
и протягивает меня сквознячище,
и сохну я, словно глиняная поделка.

III

Яблоко, ветвь покидая,
о чем размышляет?

Ветер вырулит с одной из четырех сторон:
я об этом осведомлен
собственным шиворотом,
нет — так кроной...
Ветер по ветру пустит меня,
как бы я пустил осточертевший черновик,
и прилепнет к стене в незнакомом парадном,
чтобы снизу слепила меня Ниагара лестницы,
чтобы снизу увидел я женские ноги — доверху...
Ветер вырулит с одной из четырех,
но ни северо-запад, ни юго-восток,
ни — какие еще в географии есть полумеры? —
не выдадут тебя,
не представят,
не выдавят,
кровинка моя,
не приставят ко мне,
половинка моя!..
Тьфу на вас! — завещаю я тем,
кто мной притворяется в зеркалах.
И с тем до свиданья.

Послушай,
в каком из обличий
ты меня видела?
Отраженным в кладбищенской мураве,
когда ты, на могилу слетев,
невзначай взор от нее отвела?
На нересте автомобильном,
где под тик светофора
я бензин сигареткой дразнил?
Нет, послушай, когда на чужбине,
в малярии, ах, нет, в ностальгии,
послушай, я смерти моргнул: мол, давай,
и веки не мог разлепить,
ты сказала мне: иди вон!
А когда мне пьяному дали под дых,
ты грязищу с меня отирала, да?
Отстыжусь, отбеснуюсь, улягусь,
а подушка, как терние.
Но до света ты со мной нянчишься
или не ты с приговором:
спи, мой мальчик... О, как ты устал?!

В подоле у тебя листопад моих слез,
я их стряхиваю,
а ты подбираешь,
чтоб меня по ним не выследили!
Тебя ради я, возможно, и солнце взлюблю:
буду думать, что день — гость ночи!
Когда в самую бездну сна моего
ставит женщина колдовскую ступню,
это ты ей внушаешь: не заробей!?
Отвернулась,
Мария,
насовсем...

Перевод Марины КУДИМОВОЙ

Геронтий КИКОДЗЕ



ТРАДИЦИИ ГРУЗИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

После Шота Руставели, пожалуй, никто из мастеров грузинского художественного слова не пользуется у нас такой популярностью, как Илья Чавчавадзе. Семь столетий их разделяет. Деятельность их протекала в различной культурной и политической обстановке. Различны их мировоззрение, их политические идеалы. Тем не менее можно сказать, что в эволюции грузинской литературы оба они выполнили в некоторой степени аналогичную роль. Подобно Руставели, Чавчавадзе произвел реформу грузинского литературного языка: Илья освободил его от архаических книжных норм и приблизил к народному разговорному языку; подобно Руставели, он освободил грузинскую литературу от национальной замкнутости, здоровые традиции грузинской культуры он связал с великим идейным движением передового человечества. Только во времена Руставели самой передовой была культура Передней Азии и Византии, а во время Чавчавадзе — европейская культура.

В XI—XII вв., в пору расцвета феодальной Грузии, в Передней Азии, а вернее — в восточной части Средиземноморского бассейна, возник обширный культурный мир, в который, кроме Грузии, входили Византия, Багдадский халифат и населенные

Статья Г. Кикодзе, написанная в 1936 г., является одной из первых работ в советском грузинском литературоведении об И. Чавчавадзе, в которых с принципиально новых историко-социологических позиций освещается его литературная и общественная деятельность и определяется истинное место и значение в истории грузинской культуры. Перевод статьи осуществлен Камиллой Коринтэли.

1935
111033

армянами, иранцами, греками княжества и царства. Единным основанием этого мира были сохранившиеся со времен Александра Македонского и войн Римской империи эллинистические традиции. Почвой культурного возрождения Грузии и соседних с ней государств послужил опять же эллинизм. Это возрождение способствовало освобождению человеческого мышления от религиозного фанатизма и рождению трезвого духа философского и научного поиска. Тогда же возникает мысль о единстве интересов всего передового человечества — некий зародыш идеи всемирной гражданственности, печатью которой отмечены почти все большие поэты того времени: Хакани, Низами, Омар Хайям, Саади и, наконец, наш Руставели.

Сам Шота Руставели, как каждый большой художник, твердо стоял на родной почве, но в своей поэме, как верно заметил Илья Чавчавадзе, дал типы общечеловеческие, сфера деятельности которых выходит за узкие религиозные и национальные рамки. Действие его поэмы охватывает весь известный тогда мир от Египта до Китая.

Широта географического и духовного горизонта характерна не только для творчества Руставели, но и для всей грузинской классической литературы в целом: эта черта присуща и автору «Тамариани» Чахрухадзе, чей псевдоним Маша Мехели, по мнению некоторых наших специалистов означающий «месхетский пилигрим», а по мнению иных — «мохевский пилигрим», свидетельствует, что он должен был быть человеком странствующим и ищущим. Ряд наших исследователей утверждает, что Чахрухадзе в своей поэме оплакивает друга, который, видимо, пустился путешествовать, дабы развеять печаль из-за несчастной любви. Этот своего рода Марко Поло объездил весь свет: Индию, Китай, Хазарское царство, Русь, Византию, Египет, Аравию, Йемен. Возвращаясь на родину разбогатевшим, как венецианский негодник, он в дороге умер.

Широтой духовных интересов отличаются писатели XI века Эквтиме и Георгий Атонели и автор «Абдулмесиани» Иоанэ Шавтели, творивший уже в XII веке. Все они — эллинофилы с той разницей, что интересы братьев Атонели устремлены были к византийской литературе и теологии, а Шавтели — к классической римско-греческой культуре. Характерно, что в своем «Абдулмесиани» Шавтели упоминает не только Афины и Рим, но и очаг эллинистического просвещения Тарс, философов Сократа, Парменида, Зенона, Прокла Диадоха, перипатетиков и пр.

Христианская Грузия, как и христианские Византия и Сирия, никогда не порывала связи с культурными традициями языческой Греции, поэтому Грузии не понадобилось заново открывать классическую греческую культуру как это было в эпоху Ренессанса в странах Западной Европы. Потому неудивительно, что читатель ощущает дыхание эпохи Ренессанса и гуманизма в нашей классической литературе. Широта духовного горизонта, интерес к реальному миру и классической культуре, беспоконный дух исканий — все это присуще именно Ренессансу.

На берегу Мтквари

Л. Магалашвили.

Вновь мчится Мтквари гул грохочущий,
Шумом родимым я снова мучим.
Вновь мое сердце в той же горечи
К волнам взывает, мутным, певучим.

Вновь привычными схвачен думами,
Разбередившими горе злое,
Над валами плачу угрюмыми,
Словно похитившими былое.

Время блаженное! Пылью высушен,
Стерся твой след, сметен легче пыли.
Выслушай, Мтквари, мой стон, выслушай,
Боль передай тем векам, что были!

3 октября 1859 г. Тифлис.

О выдающихся византийских гуманистах XI столетия Микеле Пселосе и Иоанне Итале часто говорят, что они были почти что людьми Ренессанса. То же самое можно сказать об их грузинском ученике Иоанэ Петрици. Пропаганда платонизма в Европе начинается со времени основания Флорентийской академии, то есть со второй половины XV столетия, а глубокое изучение философии Аристотеля — с эпохи расцвета Кордовского арабского университета, то есть с X столетия. В Грузии же интерес к классической греческой философии полностью не угасал никогда, а с целью более основательного ее изучения уже в первой половине XI века в Гелати и Икалто были основаны академии. Весьма характерно, что, когда наши старые писатели хотели особо похвалить Гелатскую академию, они называли ее Новой Элладой.

По сравнению с этим просвещенным, проникнутым гуманистическими интересами обществом Грузии того времени отсталым и достаточно ограниченным представляется нам общество эпохи, следующей за эпохой Георгия Блистательного и Баграта Великого. Сужен духовный горизонт, сужена сфера как национальных, так и международных экономических, политических и идейных взаимоотношений. Писатели XVI и XVII веков — Серапион Сабашвили, Хосро Турманидзе, Нодар Цицишвили, Теймураз I и другие, кроме Ирана, словно бы и не знают иного культурного мира и находятся под влиянием иранской эпической поэзии. Влияние это своеобразно. Дело в том, что

Молитва

Когда неверья демон, бес лукавый,
Соблазнов чашу, полную отравы,
Наполненную лести беленой,
Душе протянет, слабой и больной, —

Прости, господь, нам прегрешенья наши,
Не дай плениться хмелем едкой чаши
И, если можно, отведи ее.
Не дай отведать демонов питье.

Но, если божество твое решило
Так душу испытать — швырнуть в горнило,
Пред голосом твоим умолкну я,
Да будет воля, господи, твоя!

сама иранская художественная литература в XVI—XVII вв. уже давно вышла из эпохи блестящего расцвета, иранские поэты того времени являются эпигонами своих великих предшественников, классиков иранской литературы. Кроме того, грузинские писатели XVI—XVII вв. являются уже более ортодоксальными христианами, чем писатели XI—XII вв., так как христианство для них не просто религия, но и оружие защиты своей национальной принадлежности, своего национального «я». В большинстве случаев для них абсолютно неприемлема мусульманская идеология и суфистская мораль иранской поэзии; они стремятся изгнать ее из своих переводов и вариантов. Этим и объясняется, что влияние иранской художественной литературы на грузинскую в XVI—XVII вв. сугубо формально и не рождает тех животворных импульсов, которые могло бы породить влияние пусть менее совершенной с точки зрения формы, но идеологически и морально более близко стоящей к нам литературы.

Национально-реалистическая оппозиция иранским тенденциям в грузинской литературе возникает поначалу независимо от внешних влияний. Лучшие представители этой оппозиции — царь Арчил, Иосеб Тбилели, Давид Гурамишвили находили творческий импульс и сюжетный материал в настоящем и прошлом Грузии. Можно сказать, что они создали проникнутый чувством трагизма национальный эпос. Вся эта

Поэт



Не для того, чтобы, как птица,
Петь вчуже отчие края
И в звуках сладостных излиться,
На землю небом послан я.

И на земле воспитан строго
Я, вестник неба, сын высот,
Затем, чтоб вопрошал я бога
И за собою вел народ.

В груди бушует пламень божий,
Святого жертвенника пыл,
Чтоб я, народ родной тревожа,
Беду и радость с ним делил;

Чтобы моею стала раной
Народа рана; чтоб душа
Жила тревогой непрестанной,
Его тревогами дыша...

Тогда лишь — искра с небосвода
Всю душу опалит мою,
И слезы скорбные народа
Я осушу и — запою!

23 июля 1860 г. Павловск.

литература очень страстная, очень человеческая. Поэзия же Давида Гурамишвили с точки зрения достижений формы стоит на очень высоком уровне. Но, за исключением опять же творчества Гурамишвили, литература эта узко аристократична по тематике, идеологии и оторвана от идейного движения передового человечества той эпохи.

Вырваться из железного обруча, в котором оказалась Грузия после основания Багдадского халифата и особенно — после взятия Константинополя, первыми попытались опять-таки писатели национальных тенденций и, можно сказать, — первые «тергдалеули»¹; царь Арчил, Сулхан-Саба Орбелиани, Вахтанг VI, Вахушти, Давид Гурамишвили, Антон I и др.

¹ «Тергдалеули» — букв. испившие воды Терека (по-груз. Терги), то есть перешедшие Терек и побывавшие в России. Так назывались грузинские шестидесятники.

Свеча



Российская академия наук
Национальная библиотека

Передо мною свеча, что сначала
Комнату щедро мою освещала,
Та же свеча, чье горячее пламя
Мрак разгоняло перед очами.

Но, уменьшаясь, в смутной печали
Меркнет свеча, чуть мерцает в шандале.
Пламя увяло. Но, словно светило
Вновь из шандала прынуло, взмыло,

Борется, смерть одолеть захотело,
Где же боец для подобного дела?
Стал, ослабев, полумглою голубую
Свет, ударяясь во тьме головою.

Комнату легкие тени одели,
Луч до стены достает еле-еле.
Вот и погасла, и — тело нежарко...
Что же осталось? — Обломок огарка.

Так вот, померкнув под черною тучей,
И человек исчезает могучий;
Вместо венца, вместо цели творенья —
Только пыльца на пределе горенья.

16 декабря 1857 г. Петербург.

Вождем «тергдалеули» — грузинских шестидесятников — и явился Илья Чавчавадзе, истинный северо-западник по своей культурной ориентации. Ему нравилась не Россия славянофилов и милитаристов, художественное отображение которой он дал в «Записках проезжего» в образах тупого и глупого ямщика и легкомысленного офицера, нет, ему нравилась идущая путем прогресса демократическая и революционная Россия, лучшим творением которой он считал русскую литературу и русскую науку. Он целиком и полностью согласен был с мнением, что «тергдалеули» сформировались под влиянием русской литературы и науки и, впитав светлые идеи и мысли русского просвещенного общества, с полными руками возвратились на родину. Таким образом, в творчестве Ильи Чавчавадзе грузинское мышление вновь соединилось со стоявшим на основе классической культуры мышлением передового общества Европы, к которому оно было близко как в пору своей юности, так и в пору зрелости и от которого было оторвано в

Голос сердца

Простерла надо мной дуброва
Затишье лиственного крова,
И о любви из тьмы ветвей
Запел безумный соловей.

Я долго, долго слушал в чаще
Тот голос, вещий и манящий,
Что из груди моей исторг
Удары сердца и восторг.

Глазами я обвел поляну,
Но нет певца, куда ни гляну;
Так значит, пел в груди моей
Безумствующий соловей.

11 января 1959 г. Петербург.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

течение шести столетий благодаря активизации переднеазиатской культуры.

* * *

Основная идея, владевшая Ильей Чавчавадзе, — идея могущества человеческого разума и бесконечности прогресса человечества. Идея эта в современном ее понимании незнакома ни древним культурным народам, ни восточной цивилизации. Наиболее ясно и определенно ее выразили французские просветители, в частности в XVIII веке развил ее Кондорсе. Идея прогресса господствует и в европейском мышлении XIX века, в мышлении тех именно людей, которые оказали особое влияние на молодого Илью и его русских единомышленников. Это французские социал-утописты и немецкие философы — Гегель, Фейербах и др. И наконец, за идею прогресса боролись те поэты, чье громоподобное слово и волнующая жизнь импонировали Илье Чавчава-

зде больше, чем олимпийски невозмутимое служение искусству на холодном Парнасе. Эти поэты — Байрон, Гейне, Виктор Гюго и др. Но нужно отметить, что Илья Чавчавадзе никогда не был эпитомом ни европейских, ни русских просветителей. Его противники глубоко ошибались, когда говорили вступающему на арену борьбы поэту, что вместо щита он вооружен томаами Белинского. В дальнейшем Илья Чавчавадзе доказал своими научно-полемическими статьями, что во многих областях науки, и особенно в истории, политической экономии, правоведении, педагогике и др., он далеко не дилетант, тем более не был он дилетантом в истории Грузии, значение знания которой, по его же словам, никто не может отрицать, «потому что та литература бездейственна и мертворождена, в основе которой не лежит изучение собственного положения» («Тергдалеули» и новое поколение).

Это явление отнюдь не случайное, оно объясняется размахом духовных интересов Ильи Чавчавадзе, стремлением к истине и знанием реальной жизни, и тем еще, что он имел более ясное и верное представление о роли классовой борьбы в современном обществе, нежели его учителя. С этой стороны его мышление опередило мышление Прудона, Бастиа и др., сочинения которых в грузинском переводе он публиковал в номерах своего журнала «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии») за 1863 г. Но во избежание всяких недоразумений следует отметить, что, следуя велению чисто национальных интересов, Илья Чавчавадзе считал необходимым смягчение классовой борьбы в Грузии и восстановление «сломанного моста» между сословиями.

Само собой разумеется, что Илья Чавчавадзе понимал идею прогресса совсем не так, как нигилисты или последователь европейского вульгарного материализма Писарев. Илья говорил, что голое отрицание без критического подхода является сущей бессмыслицей, что единственный путь от заблуждений к истине — это противопоставление «да» и «нет». «Аристотель не только не критиковал ныне справедливо отвергнутое и уничтоженное крепостничество, но был сторонником еще более худшего рабства, однако разве из этого следует, что Аристотель был дураком и врагом своего общества?». Из этого критического подхода к действительности вытекало отношение Ильи к идее революции; само слово «революция» в грузинскую художественную литературу XIX века, если не ошибаюсь, впервые ввел Илья Чавчавадзе. Для него революция была не самоцель, не перманентный процесс, а источник обновления и очищения жизни. «Так оно все на этом свете: вино должно сперва перебродить, замутиться, а уж потом очиститься», — говорит он устами одного своего героя в «Записках проезжего».

Под влиянием гуманистического и социалистического мышления Илья Чавчавадзе представлял себе прогресс не только как развитие техники и повышение материального благосостояния, но и как преодоление духовной отсталости и моральных страданий людей и путь к совершенному человеческому обществу, социальной гармонии. «Все может умереть, но мысль — никогда, — говорит он в программной статье, от-

кривающей первый номер «Сакартвелос моамбе». — В бессмертии мысли как таковой — вся надежда на бессмертие человечества, потому что кривая мысли непрерывна... Что обременяет, что печалит и, если жизнь здорова, что ведет к видению? Знания, наука, которые суть плоды жизни.. На искусство и науку мы смотрим как на средства улучшения жизни.. Сам будущий строй, при котором труд будет освобожден от оков, когда племена взнесенного в небеса могучего Кавказа возвеличатся одной идеей, а называться грузином станет гордостью для каждого верного сына Грузии, Илья Чавчавадзе мыслил как итог борьбы за истину. Эти идеи он поэтически воплотил в поэме «Видение».

С рационалистическим мышлением связана борьба Ильи Чавчавадзе против аскетизма, мистицизма, фатализма, пессимизма и всех тех «измов», которые, по его мнению, мешают всестороннему развитию таящихся в человеке способностей и возможностей. В «Записках проезжего» он посылает проклятие темной ночи с ее сновидениями и пугающими разум человека привидениями и посвящает гимн дневному свету. Такое отношение к свету и тьме весьма характерно для Ильи Чавчавадзе как для последователя просветителей Западной Европы и России, с одной стороны, а с другой — наследника Руставели и Гурамишвили. Буддистско-христианскому спиритуализму и аскетизму, которые ярче всего проявились в проповеди Будды, гласящей, что тело — не мое, оно не есть «я» или мое «я», или же в нашей «Мудрости Балавара», где проводится мысль о том, что жизнь есть тень, которая отойдет, и дым, который развеется, и, наконец, в сентенции Гурамишвили — «лучше плоть отвергнуть, принести в жертву духу», — Илья Чавчавадзе противопоставил гуманизм и «мораль счастья», берущие начало в национальных традициях Грузии и в эллинизме.

И с этой стороны мышление Ильи Чавчавадзе полностью совпадает с мышлением передовых людей Западной Европы XIX столетия, суть которого выразилась в словах Теофиля Готье: «Для меня Христос не приходил на этот свет, и я язычник, подобно Алкивиаду: я никогда не собирал цветов страсти на вершине Голгофы и никогда не купался в той реке, которая хлынула на весь мир из груди распятого. Мое бунтующее тело не хочет признать господства духа, моя плоть не желает стремиться к распятию. Мне больше нравится скульптура, чем призрак, ясный светлый день, чем вечерний сумрак».

Но была одна область, в которой Илья Чавчавадзе приближался к средневековому аскету, если не идейно, то, во всяком случае, своими чувствами и переживаниями. Это — область национальной деятельности. Патриотизм его был аскетического характера, служение родине он представлял себе, как некое самопожертвование. Он говорил, что людям «богом дана только отчина... велика перед богом та жизнь, которая, сгорая за родину, посвящает себя ей». Он повторял слова одного известного писателя о том, что, как бы мала ни была родная страна, в благородном сердце она все равно занимает большое место.

Хотя ближайший сотрудник Ильи и первый его биограф Гига Кипшидзе уверяет, что в детстве поэт мечтал принять монашеский постриг, подобное намерение или желание ничем не проявляло себя в дальнейшем, ни в мышлении, ни в натуре Ильи не было ничего подобающего и приличествующего отшельничеству. Наоборот, в студенческие годы он мечтал отправиться в Италию, чтобы записаться в отряд Гарибальди. Известно, что трапеза его ничем не походила на монашескую. Любил он и женщин, увлекался азартными играми. Не раз стоял у барьера как страстный дуэлянт. Но у Ильи-патриота был бодрствующий трезвый дух борца, как у Эвтимия Мтацминдели:

С той поры, как я познал любовь к тебе,
О, отцизна, нарушился мой сон и покой!
Замирая, слушаю биение твоего пульса —
Так ночь уходит и день мой так истекает отныне.

(Перевод подстрочный)

Страстный патриотизм Ильи отнюдь не подразумевал угнетения других наций или какого-либо неуважения к ним. Он являлся всего лишь оружием самозащиты от посягательств всяких катковых, паткановых, яновских, русских экзархов и грузинских мухран-батони¹.

«Чужого ничего тебе не надо, довольствуйся своим. Это краеугольный камень человеческого единства, это основа основ нравственности, — говорит Илья Чавчавадзе в «Гласе камней». — Нация как собрание спаянных историй, единых духом и плотью исконных обитателей страны должна пользоваться уважением каждого здравомыслящего и порядочного человека, бесчестить ее либо дурно говорить о ней — поступок в высшей степени постыдный». В государственном деятеле столь крупного масштаба, каким был Давид Строитель, Илью Чавчавадзе привлекало «его человеколюбие, уважение к другим народам, к другой религии, удивительное и поразительное для человека двенадцатого столетия». При всем том, мышление Ильи Чавчавадзе было абсолютно свободно от космополитизма и душещипательной сентиментальности. Ничего не ненавидел он так, как «легковесных либералов», «шутов от либерализма», которые готовы были отказаться от защиты своего национального «я» и национальных интересов из боязни, как бы не обвинили их в национализме и шовинизме.

Об интеллектуальной честности Ильи Чавчавадзе свидетельствует то обстоятельство, что он совершенно не идеализировал грузин своего времени, подобно некоторым ограниченным националистам. Для иллюстрации достаточно вспомнить его «Счастливый день» или «Что мы делали, что творили», эту острейшую сатиру, написанную когда-либо кем-либо из поэтов против нравственных пороков своего общества. Он боролся с подлостью, подхалимством, клеветничеством, боролся против

¹ Мухран-батони — один из владетельных и влиятельных феодальных родов Грузии.

разложения социальных инстинктов, одним словом, против всей той нравственной анархии, которая охватила высшие слои грузинского общества XIX века. Он являл собой идеал доброты и твердости и цельности характера. «Сильные игроки в жизни на поле мира — исключительно люди большой души, ось земную вращает лишь тот, кто обладает полнотой души, великодушием и силой характера», — пишет Илья Чавчавадзе в статье о Дмитрие Кипиани. «Пусть сделают предметом своей жизни свойства людей великой природы, однажды признанные и принятые, и, если возникнет необходимость, пожертвуют своей головой в знак того, что истина им дороже», — пишет он по поводу праздника в честь царя Луарсаба.

Если Илья Чавчавадзе своими основными идеями, а именно — идеей прогресса, гуманизма, антиаскетической моралью, идеей здраво понимаемого патриотизма, связан с передовым европейским мышлением, то тем более связан он с ним идеей, занимающей центральное место в его мировоззрении: это идея демократизма не в узкоклассовом, а в широкогуманистическом и культурно-этическом понимании. Он верил, что освобождение угнетенных народов произойдет вместе с освобождением труда, и эту свою веру выразил в поэме «Видение». Он верил, что «распад великого знамени обремененных и голодных» затормозил бы историю, и выразил это в стихотворении «23 мая 1871 года» («Парижская коммуна»). Политический и социальный демократизм Ильи Чавчавадзе ныне общепризнан и не нуждается в излишних объяснениях, но, может статься, кому-либо не столь ясной покажется та роль, которую сыграл он в процессе демократизации художественного мышления. Илья объявил непримиримый террор устаревшей орфографии и от правил на гильотину все устаревшие буквы, так как он отлично понимал, что архаичная речь — прикрытие архаичного мышления. Трудно назвать другого грузинского писателя, который бы так обогатил грузинский литературный язык пословицами и иным словарным материалом народного языка, как сделал это Илья Чавчавадзе в «Отаровой вдове», «Гласе камней» и других своих произведениях.

С точки зрения эволюции грузинской литературы не менее достопримечательно, что Чавчавадзе произвел демократизацию литературных жанров и типов: господствовавшим в старой грузинской литературе историческому и романтическому эпосу, религиозным гимнам и одам, в которых воспевались жизнь и быт высшего феодального общества, его духовные стремления и вкусы, Илья Чавчавадзе противопоставил жанр реалистического рассказа, реалистической лирики и философской поэмы, описывающих жизнь современных ему демократических слоев общества, их мысли, чаяния, надежды, устремления, их моральные идеалы. Сам Илья, безусловно, прекрасно понимал свою роль в истории грузинской литературы. «До шестидесятых годов, — пишет он в одной из статей о грузинской литературе, — наша поэзия за исключением одного-двух примеров лелеяла чувства и переживания сильных мира сего, точно зазорным для себя считала искать иной предмет для поэзии. Шестидесятые годы обрушили на тесную арену нашей поэзии свои волны и разрушили ее ограду. В эту пору деяте-

ли уразумели, что и простолюдинам свойственны человеческие чувства и стремления; что сердца этих простолюдинов — то же море, в котором если не больше, то и не меньше рассыпано жемчужин скорби и радости, горя и веселья, ненависти и любви; что и у этих простолюдинов есть свои идеалы, свои желания, обладай только человек даром увидеть их, разглядеть и рассказать о них».

У Ильи Чавчавадзе была душа страждущая и страстная, его поэтический темперамент могуч, подобно стихии. Благодаря этому читатель часто не замечает его недостатка — слабости музыкального слуха. Его произведения в основном затрагивают социальные, моральные либо философские проблемы, но, наделенный даром пластического видения, он создал совершенно четкие и ясные контуры, окруженные прозрачной атмосферой. Он один из лучших мастеров пейзажа в грузинской литературе. В этом отношении из предшественников с ним могут сравниться разве что Бараташвили и Григол Орбелиани, а из писателей последующего поколения — Важа Пшавела и Александр Казбеги. В его пейзаже явственно ощущается культ природы, свойственный и присущий мышлению грузина. Для иллюстрации достаточно вспомнить описание природы в начале поэмы «Разбойник Како» или в «Элегии», охоту на оленей во вступлении к «Рассказу нищего», монументальный фон поэм «Отшельник» и «Видение», наконец, смерть Пепии на одном из склонов Кавкасиони, где солнце светит вместо свечи восковой и росный туман — вместо воскурения ладана. И. Чавчавадзе редко изменяет чувство художественной меры. Это происходит в тех лишь случаях, когда он выступает против социальной несправедливости или моральных дефектов либо когда стремится выразить художественно какую-либо настойчиво владеющую им мысль. С другой стороны, он понимает, что человек — сложное явление, что в каждом одушевленном существе теплится божественная искра, что добро и зло на этом свете равно ответшены и отмерены. Если образы Луарсаба и Дареджан несколько шаржированы, поскольку в произведении «Человек ли он?» Илья Чавчавадзе прежде всего стремился к созданию социальной сатиры, острого оружия против пережитков отжившего общественного строя, то образ Датико в «Рассказе нищего» нарисован с большой художественной беспристрастностью. Рыцарское отношение Датико к им же погубленным Пепии и Габо, его мужественная смерть в столкновении с Габо описаны с удивительной убедительностью, и это в какой-то степени даже примиряет читателя с Датико.

Наряду с даром пластического изображения Илье Чавчавадзе присущ дар делать социальные обобщения. В рассказе «У виселицы», где создан образ не тронутого цивилизацией простодушного и честного крестьянина, он поднял также проблему ответственности общества за вину индивидуума. Постановка и решение этой проблемы показывают, что автор знаком был со взглядами передовых социологических и философских школ Европы. Так же как «Песней пахаря» и «Отаровой вдовой», Илья Чавчавадзе доказал этим рассказом, что прекрасно знал психологию и мироощущение грузинского крестьянина. В «Отшельнике», созданном на основе грузинских

народных легенд и представляющем грузинскую параллель бродячих сюжетов, им ставится общечеловеческая проблема достижения вечного счастья и по-своему решает ее. Он утверждает, что невозможно обрести вечное блаженство, отринув жизнь земную.

В публицистических произведениях Илья Чавчавадзе выступает глашатаем и поборником оптимизма и активности. Против так называемой органической социологической школы он выдвигает мысль, что старение и смерть нации — пустые слова, что предмета этих слов и не существует вовсе и представить его нельзя; интенсивное развитие культуры ведет человечество не к упадку и вырождению, а к интенсификации энергии: оно закаляет и укрепляет человека, тренирует его к борьбе за существование. Этим и объясняется, что Илья Чавчавадзе ни о чем не мечтал для своей родины так, как о все-стороннем развитии духовной и материальной культуры. Биологическую силу нации он видел в шитом суровой нитью крестьянстве. Простолюдина считал он главным, хотя и безымянным героем истории Грузии. Он был убежден, что грузинский народ спасла от вырождения сельская демократия, здоровую экономическую основу которой в лучшие эпохи исторического прошлого Грузии, по его мнению, представляло правильное распределение общинного и подымного землевладения. По словам И. Чавчавадзе, несчастье Грузии началось с того времени, как «в... прекрасном краю не обратили внимания на эту лучшую сторону его экономического строя» и «началось обособление и выделение дымов, неравенство в землевладении» («О экономическом строе древней Грузии»). Илья верил, что грузинская демократия еще не исчерпала все свои силы и обладала большой творческой энергией для будущего строительства. «Наша страна богаче многих других стран, богаче и обильнее, — говорил он в своем обращении к крестьянам Цинамдзвгриантари, — и мы сами не бесталанные, крепки и верой своей, и десницей, есть у нас от природы сила и здоровье, и охоты нам не занимать стать».

Можно смело сказать, что в жизни Грузии второй половины XIX века не возникало ни одной значительной проблемы, которой не затронул бы Илья Чавчавадзе либо в своих художественных произведениях, либо в публицистических статьях. Мы уже ничего не говорим о его многосторонней и энергичной практической деятельности. Это гармоническое слияние литературного творчества и практической общественной работы, которое мы видим в деятельности Ильи Чавчавадзе, делает его лучшим представителем новой грузинской культуры, достойным наследником великих общественных и литературно-культурных деятелей Грузии.

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

«Илье Чавчавадзе были нанесены три раны: одна пулевая в грудь и две прикладом ружья или дубинкой в голову. Пуля, попавшая в грудь, поразила сердце...» — писал производивший вскрытие тела врач А. Яшвили¹.

Весть о зверском убийстве Ильи Чавчавадзе глубоко потрясла весь грузинский народ. Некоторые моменты позволяют составить представление о том, как распространялось это известие и какие инсинуации ему сопутствовали.

Первое сообщение об убийстве Ильи Чавчавадзе появилось в газете «Исари» 31 августа 1907 года. Оно было кратким, всего в две строки: «На сагурамской дороге убили Илью Чавчавадзе и его супругу». Как выяснилось, опубликование этого сообщения в газете было связано с большими трудностями, что подтверждается напечатанным 1 сентября в той же газете редакционным пояснением, где отмечалось, что «ужасная весть об убийстве Ильи Чавчавадзе была получена в Тбилиси в 6 часов вечера 30 августа; редакция «Исари» получила телеграмму только в девятом часу вечера, когда газета была уже отпечатана и отправлена на вокзал для рассылки в провинцию. Поэтому типографии удалось добавить только две строки, причем лишь в той части тиража, которая была предназначена для тбилисских подписчиков. Следует отметить, что один из сотрудников «Исари», находившийся в тот день случайно в Мцхета, отправил в редакцию телеграмму в 4 часа дня, а там ее получили в 9-м часу вечера! Эта чудовищная весть в тот же вечер быстро распространилась по городу и привела всех в ужас².

Срочная телеграмма шла из Мцхета в Тбилиси целых пять часов. Вероятно, здесь имело место чье-то вмешательство с целью воспрепятствовать скорейшей публикации этого сообщения. Правительственным кругам, несомненно, требовалось определенное время, чтобы выработать программу действий для смягчения той реакции, которую должна была вызвать гибель поэта среди народа, и дать соответствующие указания чи-

¹ Сборник «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 89 — 90.

² Там же, с. 9.

новникам на местах. Поэтому публикация официального сообщения в прессе уже на следующий день после трагического события была для царской администрации нежелательной. Газета «Исари» с трудом успела припечатать приведенные нами выше две строки, причем только для тбилисских читателей. Остальную часть тиража периферийные подписчики, разумеется, получили без этого сообщения.

Что касается некоторых других сообщений, опубликованных в прессе, то они, несомненно, носили инспирированный характер и преследовали совершенно определенную цель — ослабить реакцию общественности на убийство великого поэта. В частности, некоторые органы периодической печати опубликовали сообщение о том, что «на следующий день после убийства Ильи Чавчавадзе в селе Наоза был убит крестьянин Сандро Корпусов (огрузинившийся русский). На третий день в селе Млаше убили крестьянина Шио Чобакаури, в тот же день вечером в Душети убили купца Ивана Мартирозова». Обе эти деревни — Наоза и Млаше — расположены между Сагурамо и Душети, что особенно подчеркивали газеты. Не говоря уже о бесосновательной попытке обвинить в убийстве И. Чавчавадзе «людей единства» и тем самым объективно помочь царскому правительству, по-видимому, это делалось для того, чтобы скрыть, запутать следы преступления. С наименьшей вероятностью можно полагать, что царская охранка, которой было поручено физическое уничтожение великого поэта, хотела, чтобы ее агент Джаши на тот случай, если что-либо помешает ему осуществить задуманный план, имел тайных помощников, действовавших именно в тех местах, где убийство И. Чавчавадзе казалось наиболее легко осуществимым (за неделю до гибели поэт вместе со своей супругой и Артуром Лейстом дважды проследовал по этой дороге — из Тбилиси в Сагурамо и обратно). Такое предположение полностью подтверждает и тот факт, что в день убийства Ильи Чавчавадзе почти в то же самое время была ограблена его тбилисская квартира. Как видно, шайка бандитов действовала не только в Тбилиси и Сагурамо, но и везде, где можно было ожидать появления поэта.

О том, с какой огромной болью, возмущением и гневом восприняли цитадейскую трагедию грузинский народ, вся передовая интеллигенция того времени, свидетельствуют материалы, опубликованные в периодической печати сразу же после гибели поэта.

Народ осознал, что Грузия потеряла великого писателя и мыслителя, самоотверженного борца за народное счастье. Эту мысль высказал в те роковые дни профессор Александр Хаханашвили, который, отметив огромные заслуги Ильи Чавчавадзе в области художественного творчества, писал, что «с его смертью Грузия потеряла одного из величайших сыновей. Блестящий оратор, который покорял слушателей на собраниях Дворянского банка в Тифлисе, обладающий глубокой юридической и исторической эрудицией, он в совершенстве знал язык и быт своего народа, был тонким психологом и замечательным певцом народной души. Илья Чавчавадзе был в одно

и то же время ученым-исследователем, блестящим публицистом, талантливым поэтом и великим общественным деятелем. Его трагическая смерть ранила сердце каждого современного грузина, возвращенного на его полных блеска, искренних и беспристрастных поэтических произведениях и публицистических статьях»¹. Хаханашвили подчеркивал также, что Илья Чавчавадзе «на протяжении полувека возглавлял общественную мысль и деятельность в своем отечестве», что он «идейный поэт, его привлекают только общественные чувства и мысли, его лира настроена только на гражданские мотивы. Социальным направлением проникнута не только его поэзия, но и проза, начиная с «Записок проезжего» и кончая социологическим этюдом «Странное событие». Как поэт и новеллист... [он] положил начало новой эпохе в грузинской литературе, как публицист и журналист, начиная с основания «Сакартвелос моамбе», он был распространителем передовых идей, вдохновителем общественной мысли грузинского народа на протяжении сорока лет»².

Сотрудничавший с Ильей Чавчавадзе в течение 30 лет в издании «Иверия» Г. Кипшидзе говорит, что великий поэт не имел равных «ни по таланту, ни по уму, ни по заслугам, ни по славе и красноречию... каждое его печатное или устное выступление вызывало живой отклик у всех сознательных грузин, всей честной, мыслящей Грузии. Лучшие люди всех наций, жившие в Грузии, всегда отзывались о нем с любовью и уважением, охотно слушали его беседы и речи на собраниях или диспутах, поскольку видели, что этот человек обладает огромными познаниями и силой духа, прислушивается к голосу своего народа»³.

Наиболее широкий резонанс получили выступления трех великих представителей грузинского народа той эпохи — Акакия Церетели, Важа Пшавела и Якова Гогebaшвили. Вся Грузия затаив дыхание слушала слова ближайших друзей и соратников Ильи Чавчавадзе, мнение которых имело в данном случае решающее значение.

Одним из наиболее головоломных вопросов было выяснение личности подлых убийц. Народ хотел знать, кто осмелился поднять свою грязную руку на одного из лучших его сыновей.

Акакий Церетели сразу же понял, среди кого нужно искать убийц И. Чавчавадзе. Престарелый поэт бесстрашно разоблачил царских чиновников, пытавшихся свалить на крестьянство и политические партии одно из самых тяжких своих преступлений перед грузинским народом. А. Церетели смело заявил, что великого поэта убили те, кто хотел бы уничтожить и саму Грузию, «а не крестьянство, — писал он, — и не какая-либо партия, о которых я имею совершенно иное представление...»⁴.

¹ А. Хаханашвили. Памяти Ильи Чавчавадзе. — Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 82.

² Там же.

³ Г. Кипшидзе. Памяти Ильи Чавчавадзе. — Там же, с. 93.

⁴ А. Церетели. Не отравляйте мне, старику, душу. — Там же, с. 193.

Эти слова имели огромное значение, поскольку на протяжении полувека, начиная с того времени, когда на страницах журнала «Цискари» (№ 1) в 1857 году впервые появились имена И. Чавчавадзе и А. Церетели, два великих поэта вместе несли тяжелое, но почетное бремя служения грузинскому народу. А. Церетели имел все основания сказать, обращаясь к праху покойного друга: «Прощай, брат! Обстоятельства связали нас с тобой, переплели наши судьбы. В течение полувека мы тянули одно ярмо, шли одной дорогой. Трудно мне доживать век сиротой»¹. В той же речи А. Церетели особо подчеркнул неразрывную связь Ильи Чавчавадзе с Грузией. С глубокой сердечной болью обратился он к своему покойному другу: «Ты исполнил свой земной долг и успокоился навеки. Отныне ты принадлежишь истории. Дела твои и заслуги говорят сами за себя... Если Грузии не суждено погибнуть, то и ты будешь бессмертен вместе с нею, если написана ей на роду смерть, чего желают некоторые, то блажен ты, что умер раньше и не будешь свидетелем гибели отчизны. Как жизнь твоя, так и смерть вызвали народное движение, и вот грузины, съехавшиеся со всех уголков страны, окружают тебя... Кто знает, быть может, хоть смертью своей ты утвердишь то, чему отдал всю жизнь: единство, равенство, братство и любовь!»². Однако А. Церетели не только в своей прощальной речи оплакал невозместимую потерю. Накануне похорон И. Чавчавадзе, т. е. 8 сентября, он написал стихотворение «На смерть Ильи Чавчавадзе», проникнутое печалью и гневом.

Огромную боль, которую А. Церетели испытал вместе с грузинским народом, поэт высказал в следующих словах: «Предшественник нового движения — движения за справедливость — сегодня, сраженный насмерть несправедливостью, лежит в гробу перед нами и словно вопрошает: «Что я вам сделал? За что обрекли меня на смерть?». Так он спрашивает, и нам, грузинам, нечего ответить, нечем оправдаться... И я, грузин, тоже молчу, ибо печаль и стыд сковывают мне язык»³.

Десять дней оплакивала вся Грузия трагическую гибель И. Чавчавадзе. Важа Пшавела со свойственной ему глубиной мысли и чувства выразил беспредельное горе народа. Он еще раз напомнил о заслугах великого поэта и общественного деятеля. Кто же теперь окажет народу поддержку и помощь, которые он получал от него на протяжении полувека? — спрашивал Важа Пшавела. Весь грузинский народ мог бы обратиться к павшему поэту со словами из его стихотворения, посвященного памяти Ильи Чавчавадзе:

Ты чувства храм воздвиг, в основу
Созданья — мысли положил,
И кручи наших гор суровых
Нам купол храма озарил.

(Перевод О. Ивинской)

¹ А. Церетели. Не отравляйте мне, старику, душу. — Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 184.

² Речь Акакия на похоронах Ильи Чавчавадзе. — Там же, с. 184—185.

³ Там же.

Это стихотворение впервые было опубликовано 8 сентября 1907 года в «Исари», а затем включено в изданный в том же году сборник «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», куда вошли также надгробная речь Важа Пшавела и его статья «Не смогли убить», напечатанная 6 сентября 1907 года.

В своей речи Важа Пшавела напомнил о первом периоде деятельности Ильи Чавчавадзе, когда его, совсем еще молодого человека, смелого борца за интересы народа, впервые пытались убить недоброжелатели. «Быть может, многие из вас не знают, — говорил Важа Пшавела, — что Илью пытались убить еще лет 40—50 назад только за то, что он боролся против прогнивших форм жизни, против крепостничества. И все же помещики, разъяренные поведением молодого человека, автора повести «Человек ли он?!», пощадили его жизнь по следующим соображениям: быть может, из него выйдет полезный для Грузии общественный деятель; может быть, советы и наставления такого образованного человека, как Илья, окажутся наиболее разумными. И они не ошиблись. Представьте себе, сколько потеряла бы Грузия, если бы они тогда осуществили свое намерение! Целых полвека покойный носил в своей груди судьбу отчины, был ее верным стражем. Он первый грудью встречал недругов, пытавшихся поразить Грузию своими отравленными стрелами, первый подставлял щит под вознесенный меч»¹.

Важа Пшавела отмечал, что заслуги Ильи Чавчавадзе трудно перечислить — не только в области литературы, но и в сфере практической деятельности. Слова великого поэта: «Выросли твои потомки, мужественные и твердые сердцем, они помнят тебя и вечно будут помнить» — сбылись лишь отчасти. Действительно, Важа Пшавела говорил о том, что среди этих потомков «есть и уроды», но зато он постоянно подчеркивал, что «остаются и другие молодые люди, не изменившие заветам Ильи». «Мы все клянемся перед твоим великим прахом, — восклицал Важа Пшавела, — что не уроним поднятое тобой знамя и будем держать его высоко, на виду, будем стойко и негибаемо служить завещанным тобой идеалам: братству, единению, любви!»².

Акакий Церетели и Важа Пшавела во многом одинаково оценивали роль и значение Ильи Чавчавадзе. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие слова Важа Пшавела: «Если бы убийцы Ильи сумели, они и Грузию бы уничтожили»³. Такое отождествление И. Чавчавадзе с Грузией нельзя считать случайным. Достаточно напомнить в этой связи слова Важа Пшавела, опубликованные за два дня до речи Акакия Церетели: «Память о нем бессмертна, пока будет жива Грузия». Для него покойный поэт был «самоотверженным отцом Грузии, разделявшим страдания своего народа», «вдохновителем нашей литературы, великим деятелем, большим тружеником», «достойным патриотом», исполнившим свой долг перед отчиной.

¹ Речь Важа Пшавела. — Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 188—189.

² Там же.

³ Важа Пшавела. Не смогли убить. — Там же.

«Он трудился ради ее блага, — отмечал Важа Пшавела — и утомленный сошел в хладную могилу, унеся с собой печали наши, печали родины своей...»¹.

Эти полные горечи слова свидетельствуют о том, какое место занимал автор «Видения» в истории Грузии и как велика была его роль в борьбе за светлое будущее грузинского народа. Об этом же говорил и Яков Гогешвили в своих статьях «Взгляды Ильи Чавчавадзе на сословность» и «Маленькое пояснение», в которых утверждал, что Илья Чавчавадзе не замыкался в сословных рамках, а «неизменно боролся против узкоэгоистичного сословного направления»².

В статье «Месть истории» Я. Гогешвили высказывал уверенность в том, что в грядущем слава И. Чавчавадзе возрастет еще больше: «...Слава Ильи будет возрастать по мере того, как грузинам все больше и больше станет известен настоящий Илья, его величественный грузинский язык, его возвышенные мысли, прогрессивные идеалы, его демократическое направление, чистая этика совершенной человечности...»³.

Эти пророческие слова полностью оправдались.

Во многом с ними перекликалась и патриотическая речь, произнесенная поэтом Иродионом Евдошвили 7 сентября, когда процессия с прахом И. Чавчавадзе направлялась из Сагурамо в Тбилиси. Была сделана остановка в Цицамурском лесу, на том самом месте, где был убит великий поэт. Горькие чувства охватили присутствующих... Многие вспоминали впоследствии, что кровь Ильи Чавчавадзе все еще виднелась на земле. «Посреди дороги в двух местах чернеет кровь, — писал один из очевидцев. — Крестьяне сразу же обложили это место камнями». В эти тягостные минуты И. Евдошвили и обратился со страстными, полными гнева словами к присутствующим, встретившим их с огромным удовлетворением.

«...Илья... принадлежал... всей Грузии, каждому грузину, — сказал И. Евдошвили. — Он много потрудился для всех, для всей страны»⁴.

Безутешным было горе народа, вызванное цицамурской трагедией. Единственное, что могло хоть немного смягчить его — это достойное погребение великого поэта.

Грандиозные похороны Ильи Чавчавадзе вылились в подлинный всенародный траур.

Пока прах И. Чавчавадзе покоился в Сагурамо, во всей Грузии представители передовой общественности готовились хотя бы на последнем пути воздать ему должное.


В субботу, 1 сентября, в Кашветской церкви отслужили первую панихиду. Накануне, 31 августа, состоялось совещание, на котором были решены вопросы, связанные с похоронами. Вот что писала по этому поводу одна из газет: «Внесе-

¹ Важа Пшавела. Не смогли убить. — Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 54.

² Там же.

³ Я. Гогешвили. Месть истории. — Там же, с. 134.

⁴ Речь Иродиона Евдошвили в Цицамури. — Там же, с. 161—162.



но предложение возложить на Общество по распространению грамотности расходы и заботы по организации похорон. Однако, поскольку у общества нет необходимых средств для этого общего дела, деньги должно выдать дворянство. Собрание единогласно приняло это предложение. Затем возникли прения относительно места погребения покойного. Одни из присутствующих называли Дидубе, другие — двор Анчисхатского храма, но большинство высказалось за Мтацминду. В конце концов было принято последнее предложение... В заключение собрание избрало комитет из шести человек, который вместе с представителями других общественных организаций должен был разработать церемониал похорон и назначить день погребения. Тело покойного будет доставлено из Сагурамо по Военно-Грузинской дороге. Намечалось, что процессия пройдет по Головинскому проспекту (ныне проспект Руставели. — Г. Д.), а затем к Сионскому собору, где будут отслужены обедня и панихида. Затем процессия направится к горе святого Давида. Днем похорон было намечено 8 сентября¹.

Однако впоследствии было решено перенести похороны на 9 сентября, т. е. на воскресенье, поскольку «из всех уголков Грузии — Кахети, Имерети, Гурии, Мингрелии, Аджарии и других мест поступили сообщения о том, что на похороны намереваются прибыть их представители»².

Собрание, созванное 2 сентября, решило направить в четверг, 6 сентября, в Сагурамо членов похоронной комиссии, членов правления Общества по распространению грамотности — И. Ратишвили, Каричашвили, Иванэ Чавчавадзе, а также представителей газет и тбилисских рабочих, желающих принять участие в панихиде, которая состоится в Сагурамо, и в выносе праха покойного. В тот же день в Сионском соборе была отслужена панихида, на которой присутствовало огромное количество народу. Среди них были городской голова, предводитель дворянства и царский наместник Воронцов-Дашков, главный вдохновитель убийства Ильи Чавчавадзе.

В связи с похоронами поэта чрезвычайное заседание правления Общества по распространению грамотности постановило издать сборник избранных стихотворений И. Чавчавадзе тиражом 5.000 экземпляров для бесплатной раздачи народу. Созванное в редакции журнала «Накадули» совещание представительниц грузинских женщин специально обсудило вопрос о том, какие почести следует воздать великому обществу деятелю. Ранее назначенное собрание драматического общества, которое должно было избрать новых членов, было отложено «в знак траура»³.

Когда до Кутаиси дошла весть об убийстве Ильи Чавчавадзе, там происходило заседание городского правления, которое немедленно прекратило работу. Был отложен и спектакль в городском театре, а находившиеся на бульваре люди прекратили гуляние и веселье. «31 августа в час дня на улицах города появились траурные объявления, приглашавшие

¹ Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 25—26.

² Там же, с. 37.

³ Там же, с. 39.

горожан на панихиду. Грузинская гимназия и другие учебные заведения также отслужили панихиды. Все сословия, весь город готовились к похоронам Ильи Чавчавадзе¹.

Интересно и следующее сообщение, опубликованное 4 сентября в газете «Исари»: 1 сентября кутаисцы «с нетерпением ждали газеты, думая, что узнают подробности об убийстве Ильи Чавчавадзе. Однако их надежды не оправдались. Рана, нанесенная известием о смерти поэта, углубилась и обострилась до такой степени, что люди не могли удержаться от слез: редко можно было встретить человека, лицо которого не выражало бы безграничную печаль... Многие готовятся отправиться на похороны Ильи. Между прочим, грузинская гимназия в день похорон прекратит занятия и большая группа представителей учителей и учащихся старших классов намеревается прибыть в Тбилиси...

На панихиде, назначенной городской управой, присутствовало много народу, большинство магазинов было закрыто².

Полиции было приказано быть наготове, не допускать манифестаций в честь поэта, по мере возможности сузить масштабы народного траура. Однако похоронная комиссия работала энергично. Для оперативного руководства она создала две малые комиссии. Первой (в состав которой входили В. Гуния, С. Иашвили, А. Эристави, Кавришвили, К. Кавтарадзе) была поручена «административная организация похорон», т. е. самое трудное и сложное дело, а второй (А. Сараджишвили, Я. Панцхава, А. Мдивани) — установление последовательности выступлений. Главным администратором похорон был избран Валериан Гуния, который со всей ответственностью выполнил возложенные на него обязанности.

Возглавлявший тбилисскую городскую управу В. Н. Черкезишвили предложил принять следующее постановление:

«1. Правлению от имени города украсить прах Ильи Чавчавадзе венком;

2. Все члены правления обязаны присутствовать на похоронах;

3. Выразить соболезнование близким покойного»³.

Под председательством писательницы Нино Накашидзе состоялось второе совещание представительниц грузинских женщин, наметившее конкретные мероприятия в связи с похоронами Ильи Чавчавадзе. Так же поступили армянское драматическое общество и многие другие организации.

В Телави сообщение об убийстве Ильи Чавчавадзе было получено 31 августа. Два дня спустя здесь состоялись многочисленные собрания, на которых ораторы знакомили присутствующих с жизнью и творчеством поэта. На этих собраниях были приняты конкретные решения об участии телавцев в похоронах. В тот же день в Телавском кафедральном соборе состоялась первая панихида.

Аналогичные мероприятия были проведены по всей Грузии.

¹ Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 40.

² Там же, с. 42—43.

³ Там же.

Похоронная комиссия разработала состоявший из 38 пунктов порядок выноса и погребения тела Ильи Чавчавадзе. Согласно этому порядку воздавались последние почести памяти великого поэта.

Приведем наиболее характерные отрывки из опубликованных в те дни на страницах периодической печати информационных материалов о похоронах Ильи Чавчавадзе.

До 7 сентября, как уже отмечалось, прах поэта покоился в Сагурамо. Затем его должны были перевезти в Тбилиси. В Сагурамо «делегаты из Тбилиси начали стекаться 7 сентября с 7 часов утра. В 6 часов утра состоялась первая панихида. Вторая панихида состоялась в половине восьмого. Из Тбилиси, помимо родственников поэта, прибыли представители дворянства — Д. Нижарадзе, Багратион-Давиташвили, а также Георгий Зданович (Манашвили), Иванэ Ратишвили, Давид Каричашвили, Н. Эристави, Д. Думбадзе, Екатерина Габашвили, Нино Накашидзе, Элисабед Черкезишвили, Тбилисскую грузинскую гимназию представляли Иашвили, Микаберидзе и Мдивани; правление банка — Д. Павленишвили, Г. Магалашвили, Р. Гвамичава, Яков Панцхава, И. Кутателадзе, Михаил Джавахишвили, Иродион Евдошвили, Давид Микеладзе, начальник Душетского уезда Пагава (который впоследствии был свидетелем на суде убийцы И. Чавчавадзе в 1942 году), А. Джамбакур-Орбелиани, двое рабочих из Тбилисского депо, «около 20 всадников почетной охраны, несколько фотографов и многие другие. На панихиде также присутствовали все жители Сагурамо и Цицамури»¹.

В 8 часов утра «восемь человек вынесли гроб Чавчавадзе во двор. Здесь с прочувствованными речами выступили представители Общества по распространению грамотности И. Ратишвили и Е. Габашвили. Затем гроб и крышку подняли крестьяне. Гроб окружал одетый в черное отряд охраны. Когда все тронулись с места, над домом покойного, который как бы «взирал» сверху на Сагурамо, на ущелье Арагви и на Мухранскую долину, взвилось огромное черное знамя. Процессия растянулась на целую версту. В конце Сагурамо к ней присоединились одетые в траур крестьянки. Полчаса спустя процессия приблизилась к тому роковому месту, где был убит поэт». Здесь, как уже говорилось выше, Иродион Евдошвили произнес пламенную речь. «По ту сторону Мцхета, у подножья монастыря Джвари (тогда дорога проходила там. — Г. Д.) процессию встретили жители древней столицы Грузии с тремя священниками, несшими церковные хоругви и венки, на котором было начертано: «Нашему соседу, великому общественному деятелю и поэту Илье Григорьевичу Чавчавадзе от жителей Мцхета». «У Мухатгверди, возле железнодорожного моста собралась вся Земо-Авчала». «На дигомском поле процессию встретили крестьяне с венком из хлебных колосьев, перевитым лентой с надписью: «Автору «Разбойника Како» от дигомских крестьян» и четверостишие из этой поэмы И. Чавчавадзе».

¹ Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 146—147.

В дальнейшем к процессии постепенно стало присоединяться все больше народу. Собралось несколько тысяч человек.

«...В первом часу к р. Вере направились целые толпы людей с венками, двигались экипажи. В два часа дня все возвышенности над верийскими садами были усеяны народом. Ольгинская улица (ныне улица Ленина) от самого начала и до конца подъема была заполнена людьми. Все смотрели в сторону Военно-Грузинской дороги. К трем часам показался траурный экипаж, предшествовавший процессии. Наконец, в три часа дня тбилисцы увидели процессию, во главе которой ехали одетые в черное всадники. Затем под балдахин несли гроб, за которым следовала группа крестьян и много экипажей. У р. Вере был отслужен короткий молебен и произнесены речи. В числе выступавших были Илья Зурабишвили и Силован Хундадзе, который прочитал стихотворение. Процессию сопровождали около двадцати хевсур. Пели несколько хоров». «На всем пути до Сионского собора, духаны и магазины были закрыты, а тротуары полны народа». На проспекте «у первой гимназии процессию траурными гимнами встретил гимназический хор, у военного собора прах был встречен наместником и его свитой, проводившими гроб только до Дворцовой улицы (пройти дальше царский саграп не соизволил. — Г. Д.). Фасад Общества по распространению грамотности покрыт был траурными полотнищами. В середине висел портрет покойного поэта в траурной рамке». Корреспонденты отмечали, что «начиная с Эриванской площади и до Сиони все дома обвиты были траурными полотнищами. Почти с каждого дома свисало черное знамя. На Сионской улице во всю ее ширину были протянуты гирлянды цветов, посредине которых висел портрет покойного... Процессия подошла к Сиони в половине шестого... Тут же следует отметить, что, несмотря на огромное стечение народа, порядок всюду был образцовым». Этот порядок поддерживался твердой рукой Валериана Гуния.

На следующий день, 8 сентября, почести, воздаваемые покойному, продолжались. У Сионского собора было произнесено много речей, а скульптор Ходорович снял с лица Ильи маску.

В день похорон, в воскресенье, 9 сентября, уже с семи часов утра депутаты и народ двинулись к Сионскому собору. «В этот день собрались грузины со всех концов страны — из Кахети, Саингило, Пшав-Хевсурети, Картли, Имерети, Сванети, Лечхуми, Абхазии, Аджарии, Кобулету, Джавахети, Ахалцихе». «За порядком следили студенты, ученики старших классов и другие лица, которые с раннего утра распределили свои обязанности и сразу же приступили к их выполнению. Обедня в Сионском соборе началась в восемь часов утра». После прощальных речей гроб, убранный многочисленными венками и образами, в половине двенадцатого «вынесли из собора Н. Цхведадзе, А. Пурцеладзе, Артур Лейст, городской голова, наместник Воронцов-Дашков, Г. А. Багратиони-Давиташвили, Д. Нижарадзе, В. Чавчавадзе и др. Гроб установили на катафалк. Во главе процессии несли черные знамена с креста-

ми и иконами. За ними следовали представители городских цехов со своими знаменами. Затем несколько человек несли крышку гроба, за которой шли крестьяне из Сагурамо; за ними шествовали многочисленные делегации от общественных организаций, учебных заведений, городов, поселков, редакций газет и журналов и т. д. Несколько хоров пели по очереди». «Возле тела покойного находились бывшие сотрудники «Иверии», известные литераторы, общественные деятели, редакторы и сотрудники грузинских газет. Непосредственно за гробом следовали родственники и близкие покойного, а также депутаты из всех уголков Грузии, от всех общественных организаций».

Когда процессия приблизилась к Обществу по распространению грамотности, «из здания, поддерживаемый несколькими друзьями, вышел еще не оправившийся от болезни Акакий Церетели, который обратился к покойному Илье с прощальным словом». Корреспондент отмечал, что «ослабевший от болезни поэт говорил с трудом, но как только присутствующие услышали его голос, раздались рыдания. Акакий закончил свою речь в слезах».

Процессия была столь велика, что когда ее начало подошло к оперному театру, то конец находился еще у Эриванской площади. По пути следования к ней присоединились десятки тысяч людей. Свыше 100 тысяч человек приняло в тот день участие в похоронах Ильи Чавчавадзе, и все же порядок ни разу не был нарушен. Речи произнесли В. Черкезишвили, Нино Накашидзе, Г. Хускивадзе, И. Иванидзе, Я. Панцхава, Важа Пшавела и другие ораторы. После этого «гроб был снят с катафалка, и рабочие, крестьяне и представители интеллигенции на руках понесли его вверх по склону... За ограду церкви святого Давида впускали по специальным билетам, однако многие из присутствующих сумели проникнуть через ограду, так что собралось много народа». У могилы с надгробными речами выступили М. Келенджеридзе, Н. Цхведадзе. И. Меунаргия, К. Эристави, Д. Нахуцришвили, Кочиев, С. Квариани, В. Рцхиладзе и др. «Было уже половина седьмого вечера, но народ не расходился. По призыву А. Мдивани все встали на колени, воздавая последние почести покойному... Было уже семь часов вечера, когда Мтацминда постепенно опустела»¹.

В связи с похоронами великого грузинского поэта было получено несколько тысяч телеграмм, стихов и писем, в том числе из Москвы, Петербурга, Киева, Баку, Еревана, Брюсселя, Вены, Парижа, Берлина. Пришло также письмо Гуго Шухардта из Венской Академии наук.

В речах и некрологах, посвященных Илье Чавчавадзе, о нем говорили как о великом поэте, романисте, мыслителе, критике, публицисте, юристе, экономисте, историке, социологе, общественном деятеле, журналисте и редакторе, председателе банка и многих общественных организаций. В некрологах и речах отмечалось, что Илье Чавчавадзе был замечательным оратором, приятным собеседником, прекрасным переводчиком,

¹ Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 145—158.

разносторонним человеком. Потерять его — значит отнять у народа ценнейшую жемчужину из его сокровищницы.

Но не только грузинский народ оплакивал своего славного сына.

Передовая русская интеллигенция, прогрессивная, подлинно народная Россия искренне скорбела по поводу кончины Ильи Чавчавадзе. Эту скорбь прекрасно выразил тогда еще молодой поэт Сергей Городецкий в своем проникновенном стихотворении «Памяти грузинского поэта», опубликованном в 1907 году.

В этом стихотворении, согретом глубоким чувством, мастерски показано, как к плачу Грузии символически присоединяется «святая Россия», «озаренная сиянием в темноте», которая издала взирает на «хладный прах» И. Чавчавадзе. Оба народа, связанные многовековой дружбой, объединяет сегодня великая скорбь. В связи с гибелью грузинского поэта «святая Россия» не могла без боли не вспомнить своих великих сынов, так неразрывно побратавшихся с Кавказом: гениального Лермонтова, погибшего у Пятигорска, незабываемого Грибоедова, который своей «обличающей, жестокой лирой», «горьким смехом» заставил Россию почувствовать «свое горе».

Могила И. Чавчавадзе расположена недалеко от могилы Грибоедова на Мтацминде. Это дало С. Городецкому повод подчеркнуть их родство, трепетно выразить сочувствие к печали Грузии и уверенность в том, что лира И. Чавчавадзе будет вечно воспевать страну, «живущую в печали глубокой о прошлом».

Можно с уверенностью сказать, что трагическая гибель великого грузинского поэта была оплакана всеми истинными патриотами, твердо верившими в конечное торжество его заветных идеалов, в борьбу за осуществление которых он включился с юности и вел ее на протяжении всей жизни. Своим великим талантом И. Чавчавадзе принадлежал не только Грузии, но и всему человечеству. Эта мысль была выражена в небольшой статье, опубликованной в те трагические дни. В ней, в частности, говорилось: «...Погиб Чавчавадзе, а с ним вместе погиб человек, принадлежавший к славной плеяде тех, кто всю жизнь свою зовет народы на путь прогресса и единения...».

Что же произошло после кончины великого поэта?

Царское правительство по сути дела не принимало никаких мер для выявления и наказания убийц. Это обстоятельство вынудило супругу поэта 20 января 1908 года обратиться к царскому наместнику на Кавказе графу Воронцову-Дашкову с прошением, которое невозможно читать без волнения, зная, что Дмитрий Джаши, непосредственный организатор убийства, был без следствия освобожден из тюрьмы самим Воронцовым-Дашковым! Граф, который сам был вдохновителем убийства И. Чавчавадзе и поэтому покрывал его участников, проявлял полное равнодушие к его гибели. Достаточно сказать, что Николай II узнал об убийстве поэта только 2 сентября.

...Вся общественность с нетерпением ждет торжества правосудия: выявления и наказания истинных убийц, — читаем в

1959-20
1101033

прошении вдовы поэта. — Однако следовательская камера пока еще не представила на суд общественности истину и не выявила убийц, скрывающихся от наказания... Неужели такое злодеяние должно остаться нераскрытым? Нет, нет! Вы, как начальник края и исключительно справедливый человек¹, не допустите этого... Надеюсь на внимательное отношение, которое Вы проявляли, любезный граф, при жизни покойного, ценя в нем достойного человека и гражданина, осмеливаюсь беспокоить Ваше сиятельство почтительнейшей просьбой: отдать приказание о принятии энергичных мер для ареста виновников и отдачи их под суд»².

Граф Воронцов-Дашков получил письмо Ольги Чавчавадзе на следующий же день, но не отдал распоряжения провести строжайшее расследование. Он даже не выразил неудовольствия в связи с тем, что задержание убийц великого поэта столь безнадежно затягивается. Напротив, царский наместник конфиденциально поручил одному из своих подчиненных: «Попросить от моего имени в письме прокурора Тифлисского окружного суда сообщить, выявлены ли обвиняемые по этому делу или нет»³.

Из этой конфиденциальной резолюции Воронцова-Дашкова становится совершенно ясно, что в течение пяти месяцев царский наместник лично не принял никаких мер для выявления убийц Ильи Чавчавадзе. Он не знал даже, был ли арестован кто-либо в связи с этим преступлением (исключение составляет провокатор Дмитрий Джаши, об аресте которого наместник узнал тотчас же и немедленно приказал освободить этого обер-преступника). После этого он уже не интересуется ходом расследования...

О том, как равнодушно относится царское правительство к расследованию дела о преднамеренном убийстве поэта, ярко свидетельствует следующий факт: если бы прокурор знал, что царский наместник — граф Воронцов-Дашков проявляет хоть какой-то интерес к установлению истины, он должен был немедленно дать ему ответ. Однако запрос наместника, направленный прокурору 27 января, пролежал без ответа до 10—11 февраля. Только 13 февраля Воронцов-Дашков обратился к Ольге Чавчавадзе с формальным ответом, который опять же свидетельствует о том, что царский наместник считал вопиющее убийство Ильи Чавчавадзе «обычным делом». Граф писал следующее: в связи с Вашим письмом относительно того, что «не обнаружены убийцы Вашего мужа... кн. Ильи Григорьевича Чавчавадзе, имею честь сообщить, что несколько лиц, обвиняемых в этом убийстве, арестованы следственными властями, те же из обвиняемых, которые в настоящее время укрываются от уголовного следствия, по их поимке будут переданы судебным властям»⁴.

¹ А между тем несправедливость его была общезвестна!

² См. «Санторно моамбе», 1947, № 3, с. 277.

³ Там же.

⁴ Там же.

Вот и весь ответ, по своему духу идентичный упомянутой нами резолюции царского наместника. И здесь, и там очевидны полное равнодушие, нежелание принять радикальные меры. В ответе наместника на обращение вдовы поэта отсутствует квалификация убийства Ильи Чавчавадзе: о возможном преступлении говорится лишь как «об этом убийстве». Кроме того, привлекает внимание следующее обстоятельство: Воронцов-Дашков счел возможным упомянуть лишь один факт, а именно — что арестовано несколько человек, тогда как укрывающиеся по их поимке будут переданы суду.

Преступная роль царского правительства и его чиновников в физическом уничтожении Ильи Чавчавадзе была общеизвестна. Уже через два дня после убийства одна из грузинских газет во всеуслышание осудила местных чиновников: «вызывают удивление действия стражников и местной полиции: как нам сообщили, об убийстве они узнали через 15 — 20 минут, но своевременно не приняли никаких мер. Урядник заявил: «Поскакал, мол, туда, поскакал сюда», а там же, в трех верстах, находится пост казаков. Первое время они ничего не предпринимали»¹. Было ясно, что царское правительство не станет разоблачать истинных убийц, поскольку это было бы саморазоблачением. В этой связи та же газета недвусмысленно писала: «...Грузинский народ должен знать, должен понять — кто и почему совершил такое преступление перед страной... К сожалению, весьма сомнительно, чтобы это убийство было расследовано согласно закону. В наше время это вообще крайне затруднительно, а в данном случае еще более затруднительно, поскольку тот, «кому надлежит» это сделать, не станет ломать голову над установлением истины, ибо, как говорили римляне, — *tertius gaundet*» (третий радуется. — Г. Д.) — и он будет рад, если мы все перебьем друг друга и сами уничтожим лучших сынов своей страны»².

Как можно было убедиться, этот прогноз полностью оправдался. Прощение Ольги Чавчавадзе на имя наместника еще раз подтвердило, что царское правительство за целые пять месяцев ничего не сделало для установления истины. Не предпринимало оно действенных шагов в этом направлении и впоследствии (если не считать формальной судебной пародии), хотя и располагало неоспоримыми обличительными фактами.

Первым виновником, разумеется, было царское правительство, свора его полицейских чиновников. И хотя через 10 лет после убийства Ильи Чавчавадзе самодержавие было свергнуто, долгое время все же не удавалось выявить непосредственных убийц.

Убийца Ильи Чавчавадзе — тот, чья пуля сразила грузинского поэта, — долгое время скрывался. Схватить его удалось в Тбилиси в 1941 году, т. е. спустя 34 года после убийства Ильи Чавчавадзе.

Началось расследование старого преступления.

¹ Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 16; «Исарн», номер от 1 сентября.

² Там же, с. 26—27; «Исарн» от 2 сентября.

1935340
302-1110333

Верховный Суд Грузинской ССР с 25 декабря 1941 года по 5 января 1942 года разбирает дело Георгия (Гиглы) Бербичашвили¹. Перед советским правосудием предстал ловко маскировавшийся в течение многих лет разбойник, в прошлом вор и жулик, скрывавшийся в лесах. Именно его грязная рука сразила выдающегося деятеля грузинского национально-освободительного движения прошлого столетия, писателя и публициста Илью Чавчавадзе. Бербичашвили заявил суду, что, скрываясь в лесу, «искал себе ежедневное пропитание. Мне не о чем было горевать, — сказал он. — Человек, выросший в лесу, думает о своем куске хлеба». За этот «кусочек хлеба» и убил разбойник Илью Чавчавадзе.

Наконец-то был сорван покров с циджамурской трагедии и окончательно установлено, что Илью Чавчавадзе убила царская охранка руками своих наемных агентов, руководимых провокатором Дмитрием Джаши. За два месяца до гибели поэта они устранили управляющего Мосе Мемарнишвили и его жену Еву Григорьевну, которые были зверски убиты. Судебный процесс совершенно точно установил следующее.

За два месяца до циджамурской трагедии агент царской охранки Д. Джаши для отвода глаз устроился к Илье Чавчавадзе на должность управляющего, несмотря на то, что в хозяйстве ничего не смыслил и что сам поэт не хотел брать его управляющим. Один из свидетелей, Пагава, который в 1907 году за несколько дней до убийства присутствовал в Сагурамо на ужине, показал советскому суду 27 декабря 1941 года следующее: «Илья попросил меня остаться. Я остался. Внесли ужин. Когда вошел Джаши (Илья не любил много разговаривать), у него из рук выпала вилка. Джаши обратился к нему насчет какого-то сада. Илья велел ему прийти на следующий день. Когда Джаши вышел, Илья сказал: кого это мне навязали?».

Агент царской охранки Д. Джаши сколотил шайку воров, жуликов и бандитских элементов, которая должна была убить И. Чавчавадзе. В состав этой шайки входили: бывший мамахлиси Иванэ Инашвили, скрывавшийся в лесах житель села Ахатна, вор и бандит Георгий Бербичашвили, Павле Пшавлишвили (Апциаури), Сандро Хизанишвили, Ладо Пеикришвили, кучер поэта Тедо Лабаури, Илья Модзгвришвили и другие. Эта-то шайка бандитов и разработала план подлого нападения на великого поэта, осуществленный 30 августа 1907 года.

Обвиняемый Г. Бербичашвили дал следующие показания: «В этом лесу (т. е. в Сагурамском лесу, недалеко от дома поэта — Г. Д.) мы решили убить Илью Чавчавадзе. В этой связи мы спросили кучера Лабаури, когда он повезет из Тбилиси Илью Чавчавадзе. Лабаури сказал, что повезет Илью на следующий день... Мы — я, Пшавлишвили, Хизанишвили и Пеикришвили — остались в ту ночь в лесу. Инашвили же, Джаши и Лабаури отправились в деревню».

На следующий день, 30 августа, шайка преступников была готова осуществить свой ужасный замысел. Обвиняемый Бер-

¹ Нами использованы полные стенографические протоколы заседания Верховного Суда.

бичашвили заявил: «Мы укрылись в засаде в густом лесу. Через некоторое время послышался шум экипажа. Когда он приблизился к нам, Лабаури замедлил бег лошадей».

Раздался выстрел из берданки. Сраженный пулей, Илья Чавчавадзе выпал из экипажа. Его убил Бербичашвили. Верный слуга поэта Яков Битаршвили, сидевший на облучке рядом с Лабаури, защищаясь, выстрелил из револьвера и ранил в ногу убийцу. Экспертиза установила, что тот действительно имеет в ноге старую рану. Обвиняемый Бербичашвили признал, что был ранен Яковом Битаршвили. «Когда лакей Яков, — заявил он, — выхватил револьвер, я, Бербичашвили, Пшавлишвили и Инашвили выстрелили в Якова, который свалился в кусты и умер».

Бербичашвили пытался ввести суд в заблуждение. Будучи опытным преступником, он всячески выкручивался, однако факты полностью разоблачили его. В протоколах суда читаем:

«Председатель: — В какую сторону ехал Илья?»

Бербичашвили: — В эту сторону (показывает).

Председатель: — А где лежали его очки?»

Бербичашвили: — С этой стороны».

Бандиты ограбили убитых. Бербичашвили признал: «После убийства я взял золотые очки и шкатулку, в которой было пять золотых колец. Пеикришвили взял чемодан и золотые часы. Хизанишвили взял узел, в котором была одежда».

Это коварное убийство было организовано столь продуманно, что почти одновременно с убийством и ограблением Ильи Чавчавадзе была ограблена и его квартира в Тбилиси.

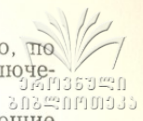
На судебном процессе была установлена вся картина организации убийства великого грузинского поэта.

Было окончательно доказано, что царское правительство, устрояя Илью Чавчавадзе, преследовало две основные цели: уничтожить своего противника, великого поэта и общественно-го деятеля, и обвинить в этом ужасном преступлении революционное крестьянство и социал-демократические организации.

Было достоверно установлено, что ни один из участников убийства Илья Чавчавадзе — ни агент царской охранки, принимавший ранее участие в ограблении банка, Дмитрий Джаши, ни Георгий (Гигла) Бербичашвили, ни Инашвили, и ни другие убийцы — не принадлежал ни к одной политической партии. Было выяснено также, что скрывавшийся с 1907 года по 1919 год Г. Бербичашвили в 1921 году обманным путем завладел партийным мандатом в Душетской организации.

На судебном процессе было выявлено также, что царская охранка приняла все меры к тому, чтобы скрыть своих агентов Д. Джаши и Г. Бербичашвили, а для П. Пшавлишвили организовала побег из Метехской тюрьмы с тем, чтобы в дальнейшем убить его.

Главный организатор убийства поэта, фальшивомонетчик и фальсификатор железнодорожных билетов, сотрудник черносотенной печати, провокатор Д. Джаши, на квартире которого через несколько дней после убийства было обнаружено много личных вещей Ильи Чавчавадзе (белье с вышитыми инициалами «И. Ч.», ложки, чернильница, ручка, мебель, скатерть, полотенца), даже не присутствовал в качестве свидетеля на



судебном процессе группы убийц в 1908 году. Более того, по указанию Воронцова-Дашкова он был освобожден из заключения царской охранкой.

Были обнаружены также документы, свидетельствующие о том, что царская охранка выплачивала Джаши жалование, что он получал пригласительные билеты от Главноуправляющего Воронцова-Дашкова и несколько раз бывал у него в гостях. Джаши неоднократно видели выходящим из жандармерии.

Власти помогли скрыться и Бербичашвили, несмотря на то, что Тедо Лабаури еще 6 ноября 1907 года дал следующее показание: «Первым выскочил из засады Гигла Бербичашвили из Ахатна и приказал кучеру остановиться. Он же выстрелил в князя Илью Чавчавадзе. Это был первый выстрел, и князь выпал из экипажа. После этого Бербичашвили и Инашвили ранили княгиню и забрали все вещи».

Таким образом, Бербичашвили уже в 1907 году был разоблачен как непосредственный активный участник этого ужасного преступления, однако царское правительство не приняло никаких мер для его ареста. На вопрос о том, под чьей фамилией скрывался «бежавший в Иран» убийца, Бербичашвили ответил: «Под фамилией Симона Павловича Кавтиладзе».

Советский суд приговорил убийцу выдающегося общественного деятеля Грузии, писателя и публициста Ильи Чавчавадзе—Георгия (Гиглу) Бербичашвили к высшей мере наказания.

Присутствовавшие в зале представители научных и литературных организаций с единодушным одобрением встретили справедливый приговор.

Так, спустя 35 лет завершилась цитамирская трагедия.

Однако рана, нанесенная подлым убийством Ильи Чавчавадзе, не зажила до сих пор.

Илью Чавчавадзе убили, но дело его бессмертно. Со второй половины прошлого столетия и до 1907 года в общественной жизни Грузии не было такой боли народной, ни одного такого наболевшего вопроса, который не волновал бы Илью Чавчавадзе. Его разносторонность и универсальность были поистине удивительными.

Как писатель и ученый-мыслитель, И. Чавчавадзе представляет собой одну из вершин грузинской духовной культуры. Известно, что литература и мышление неразрывно связаны с языком. Это хорошо понимал И. Чавчавадзе, который всегда придавал первостепенное значение вопросам развития грузинского языка, способствовал его освобождению от архаических форм. Родной язык и историю он считал неотъемлемым достоянием народа.

Поэтому совершенно естественно, что Илья Чавчавадзе еще в 60-х годах прошлого столетия выступил как основоположник и реформатор нового грузинского литературного языка. Он всегда «уделял большое внимание чистоте языка, изучению закономерностей его развития, расположению слов в соответствии с нормами грузинского языка и образному, живому вы-

ражению мысли»¹. «Всю страну поражал и восхищал язык Ильи, его удивительная, солнечная яркость. Когда читаешь его произведения, не только беллетристические, но и публицистические и, представьте себе, даже научные («Писатели Грузии», «Вот история»), прежде всего бросаются в глаза блеск и сверкание грузинских оборотов и выражений, подобных щедро разбросанным драгоценным жемчужинам. Грузинский язык в творениях Ильи Чавчавадзе достигает необычайно высокого развития. Он поистине обладает, выражаясь словами поэта, «мягкостью ткани и твердостью стали», то журчит, подобно ручейку, бегущему по долине, то грохочет горным потоком»².

Таково было общее мнение. Кроме консерваторов, все считали, что Илья Чавчавадзе — действительно великий мастер языка.

И. Меунаргия отмечал, что «в отношении языка... Илью действительно можно назвать законодателем грузинской речи». Писатель, если он истинный художник, вводит в язык новые слова, дает им жизнь. «Кто-то упрекнул Виктора Гюго, — писал И. Меунаргия, — что такого слова нет во французском языке. На это замечание Гюго гордо ответил: «Нет, но будет». Так и Илья Чавчавадзе ввел в родной язык много грузинских слов, которые живут и по сей день...»³.

Илья Чавчавадзе заботился о разработке не только чисто лингвистических, но и практических вопросов грузинского языка. Глубокий знаток родной речи, он уделял огромное внимание каждому слову или фразе. Даже к простой газетной хронике относился с таким же чувством ответственности, как к стихотворению или рассказу, исследованию или полемической статье. Так создавались его бессмертные творения — все то, что дошло до нас и снискало славу Илье Чавчавадзе.

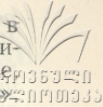
В отличие от Николоза Бараташвили ему довелось дожить до всеобщего признания своего таланта.

Сочинения Ильи Чавчавадзе еще при его жизни были переведены как на русский, так и на европейские языки. Сам же поэт в автобиографии отмечал, что на русский язык часть его стихотворений перевели несколько поэтов, а известный поэт Иван Тхоржевский перевел поэму «Отшельник». «Некоторые русские переводы моих стихотворений, — писал Илья Чавчавадзе, — были включены в отдельные сборники, опубликованные в Тбилиси, другие печатались в «Русской мысли», «Живописном обозрении»... Мою поэму «Отшельник» перевела на английский язык М. Уордроп. Она же перевела ее в прозе на французский язык. Несколько моих небольших стихотворений, переведенных на немецкий язык, были включены в сборник, впервые опубликованный в 1886 году в Лейпциге. Перевел эти стихи Артур Лейст. Сборник был озаглавлен «Грузинские поэ-

¹ Илья Чавчавадзе. Собр. сочинений, т. I, 1914, с. XLVI, статья Г. Кипшидзе (на груз. яз.).

² Там же, с. XLVIII—XLIX.

³ Иона Меунаргия. Грузинские писатели, II, 1944, с. 198 (на груз. яз.).



ты». Вторично этот сборник вышел в свет в 1900 году в Дрездене. Рецензии были напечатаны в свое время в Тбилиси в русских газетах «Кавказ» и «Новое обозрение», а также насколько я помню, в столичных газетах «Русская мысль», «Живописное обозрение» и в одной московской газете, название которой, к сожалению, я забыл. Рецензии были опубликованы и за границей в нескольких немецких газетах и, между прочим, в «Литературном эхо» в 1898 году... а также в итальянском журнале «Новая антология», VI, 1900 г. Обзор моей общественной и литературной деятельности был напечатан во французском издании «Иллюстрированный Кавказ» в 1902 году¹.

В настоящее время произведения Ильи Чавчавадзе переведены на языки всех народов нашей Родины и на языки многих народов мира.

Следует отметить, что в свое время грузинская литературная критика, с одной стороны, восторженно хвалила Илью Чавчавадзе, а с другой — нередко обрушивалась на него с явно тенденциозными придирками. Поэт, как и подобает гению, с достоинством встречал и льстецов, и хулителей.

Гейне когда-то сказал: «Я был отважным солдатом в бою за благо человечества». Так могли говорить только люди, принесшие себя в жертву человечеству, истинные выразители великой мысли и великого душевного волнения. К их числу принадлежит и Илья Чавчавадзе, сумевший обобщить страдания своего народа и придать им общечеловеческое звучание так, как это удается только гениям.

Венок бессмертия уже давно возложен грузинским народом на голову Ильи Чавчавадзе. Не случайно еще в 60-х годах прошлого столетия в один ряд были поставлены имена трех великих мастеров художественного слова — Николоза Бараташвили, Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. В статье, опубликованной в 1865 году в журнале «Цискари», Гвимели указывал, что Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели возвышаются своим даром и талантом над писателями прошлого века (XVIII столетия. — Г. Д.), как солнце возвышается над землей².


Еще в 1870 году, находясь в Мюнхене, Александр Цагарели, до этого критически относившийся к вождю «тергдалеули», заявил: «Теперь всем стало ясно, что в нашей литературе действительно нет равного Илье Чавчавадзе»³. В стихотворениях И. Чавчавадзе он отчетливо увидел «счастливый поэтический дар» и «глубокую поэтическую природу». «Правда, — писал А. Цагарели, — прилежанием и усердием много может добиться человек, однако такие, как И. Чавчавадзе, только рождаются»⁴. Это было признание исключительного таланта

¹ Илья Чавчавадзе. Полн. собр. сочинений, т. IX, 1957, с. 311 — 312 (на груз. яз.).

² Гвимели. Писатели нашего времени. — «Цискари», 1865, №№ IV, VII и X; вошло в сборник «К истории грузинской литературной критики», I, 1955, с. 391—394.

³ А. Цагарели. Наша несчастная литература в этом столетии. — «Дроеба», 1870.

⁴ Там же.

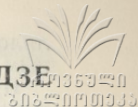


поэта. Силой своего эмоционального воздействия поэзия Ильи Чавчавадзе, по словам А. Цагарели, отличается от стихов «грузинского Байрона» — Бараташвили и Александра Чавчавадзе в такой же мере, в какой поэзия Гейне отличается от поэзии Байрона. Конечно, не все в приведенной параллели правильно, но сама мысль вызывает определенный интерес. Однако главное — не в этом. По мнению критика, поэзия Ильи Чавчавадзе являет собой синтез национального и общечеловеческого. Правда, в некоторых стихотворениях И. Чавчавадзе А. Цагарели усматривал недостаток национального колорита, однако упреки такого рода были явно несправедливыми. В целом же А. Цагарели был совершенно прав, отметив в произведениях поэта «подлинное благородство» духа, «возвышенную поэтичность» и оптимистическую веру в светлое будущее своего народа.

Совершенно иные соображения о национальном характере творчества Ильи Чавчавадзе высказал Александр Хаханашвили. Илья Чавчавадзе «был выразителем грузинской национальной психологии. Благодаря ему грузинская литература достигла художественной зрелости и проложила путь к национальной независимости»¹. Это — безусловно правильное, неоспоримое положение.

Величайшее влияние Ильи Чавчавадзе на грузинскую литературу и его огромную роль в жизни народа не отрицали даже противники поэта. Вспомним хотя бы тот факт, что Антон Пурцеладзе, который в свое время несправедливо критиковал Илью Чавчавадзе, в 1872 году был вынужден признать его огромный авторитет. В статье «Бедный Кудабзика» он писал: «Авторитет Чавчавадзе действует на нашу литературу с такой силой, что все его слепые подражатели уже не думают о том, чтобы глубоко заглянуть в суть дела и понять его, а слепо подчиняются своему учителю». Причина этого — в гениальности, таланте, величии Ильи Чавчавадзе, с такой силой проявлявшихся во всех его произведениях.

¹ А. Хаханашвили. История грузинской словесности, с. 113.



СОДЕЙСТВУЯ ПРОГРЕССУ РОДНОЙ СТРАНЫ

В 70-х годах прошлого века в Грузии один за другим закрывались такие издания, как «Мнатоби», «Кребули», «Цискари», «Гутниси деда», однако спрос на журналы и газеты рос с каждым днем. Учитывая объективное положение и стремления прогрессивного общества, Илья Чавчавадзе в 1877 году основал «Иверию», которая явилась целой эпохой в истории грузинской журналистики¹.

«Иверия» ставила целью просвещение и политическое

¹ В 1877, 1878 и 1906 годах «Иверия» выходила как еженедельная газета, в 1879, 1881 — 1885 годах — ежемесячный журнал, в 1880 году — трехмесячный альманах, в 1886 — 1905 годах — ежедневная газета. В течение четверти века «Иверией» руководил И. Чавчавадзе. В дальнейшем же редакторами газеты были А. Сараджишвили, Г. Кипшидзе, Ф. Гогичайшвили.

воспитание масс, содействие прогрессу страны. Эта тенденция четко выражена в ее программной статье.

Жизнь, пишет И. Чавчавадзе, в вечном движении, все меняется и развивается. Этот процесс ставит вопросы, проблемы, требующие объяснения и решения. Массы не всегда могут самостоятельно прийти к правильному их решению. Им нужен помощник, и пресса призвана выполнять эту функцию. И. Чавчавадзе отмежевывается от тех теоретиков журналистики, которые считают газету только лишь средством информации. Он справедливо отмечает, что публицист должен отбирать и анализировать факты в соответствии с конкретной концепцией и, правильно обобщая их, представлять читателю четкие выводы. «...Везде и во всем журнал и газета особое и первостепенное значение должны уделять той идее, той основной мысли, которыми сами дышат, тому мысленному взору, которым воспринимают предмет».

И. Чавчавадзе сумел сплотить вокруг «Иверии» квалифицированные силы, привлечь к сотрудничеству в ней почти всех известных деятелей последней четверти XIX века.

Несмотря на то, что это был общеполитический орган, большое внимание уде-

лялось в нем также отраслевым вопросам.

Программа «Иверии» характеризовалась полнотой и разносторонностью. Редакция освещала как местную, так и русскую, а также зарубежную жизнь, печатала на своих страницах не только публицистические, но и художественные произведения и научные труды.

На протяжении 30 лет «Иверия» испытывала определенные изменения, однако направление газеты (в бытность Чавчавадзе редактором) в основном все же было стабильным. В 1885 году И. Чавчавадзе писал: «...Наша новая газета будет иметь то же направление, что и журнал, и я то же, что в прошлом...» (И. Чавчавадзе. Соч., т. 10, с. 115). Он до конца остался верен своему убеждению.

Важнейшей задачей «Иверии» является призыв к борьбе против колониальной политики царизма и защита национальных интересов. В XIX веке грузинский народ испытывал не только социальный, но и национальный гнет. Преследовались грузинский язык и литература, пресекались национальные начинания, широко проводилась политика ассимиляции. В такой ситуации со всей остротой стоял вопрос сохранения и укрепления нации.

И. Чавчавадзе указывал, что восстановление самостоятельности нации и защита ее интересов являлись основной задачей «Сакартвелос моамбе», «Мнатоби», «Дроеба» и что этому же делу служит «Иверия». «Более тяжелой, более сложной проблемы у нынешнего грузина нет.

Все, кто на что-нибудь способен, должны сплотиться вокруг этого направления и совместно действовать... И школа, и банк, и театр — все должно быть направлено на это» («Иверия», 1881, № 5, с. 128).

Поскольку национальный вопрос был признан первоочередным, деятельность редакции была направлена именно по этому руслу. Она формулирует программу, при составлении которой учитывался опыт других наций, и в первую очередь чехов. Согласно этой программе основное внимание на страницах «Иверии» должно было уделяться таким вопросам, как: а) патристическое воспитание читателей, б) восстановление законных прав грузинского языка, в) открытие грузинских школ, г) возрождение национальной литературы и искусства, д) введение форм самоуправления и др.

В целях воспитания читателей в духе патриотизма «Иверия» широко использовала как художественные, так научные и публицистические произведения. Красной нитью через них проходило утверждение, что Грузия страна с богатым историческим прошлым. Для редакции прошлое являлось не только олицетворением былой славы, но и твердыней национального «я», основой лучшего будущего. Г. Кипшидзе справедливо отмечал, что «изучение истории, исследование прошлого способствует укреплению национального самосознания, а последнее — возрождению национального движения и прогрессу страны» («Иверия», 1882, № 10, с. 119). Таки-

ми тенденциями характеризовались внутренние обозрения И. Чавчавадзе, «Кем мы были в прошлом?» Я. Гогобашвили, «Бахтриони» Важа Пшавела, «Этнографический разбор коренных жителей древней и новой Кападокии или Чанети» Д. Чубинашвили, «Исторические зарисовки» Д. Джанашвили и другие.

Не случайно на страницах газеты было приведено высказывание зарубежного автора V века о том, что в мире существует много народов, но алфавит лишь у 15, в том числе у грузин.

По мнению редакции, прогресс народа невозможен без предоставления родному языку широкого поля деятельности. На страницах «Иверии» приведены слова К. Ушинского: «Когда исчезает народный язык, народа нет более. Пока жив язык народа в устах народных, до тех пор жив и народ. И нет насилия более невыносимого, как то, которое желает отнять у народа наследство, созданное бесчисленными поколениями его отживших предков. Отнимите у народа все, и он все может вернуть; но отнимите язык, и он никогда больше уже не создаст его; новую родину даже может создать народ, но языка никогда — вымер язык в устах народа, вымер и народ. Но если человеческая душа содрогается перед убийством одного недолговечного человека, то что же должна бы чувствовать она, посягая на жизнь многовековой исторической личности народа — этого величайшего из всех созданий божьих на земле?» («Иверия», 1881, № 12, с. 80).

«Иверия» боролась против дискриминации грузинского языка в начальных школах.

Большую кампанию провели публицисты также, добиваясь ведения судебных дел на понятном для народа языке.

Национальная программа предусматривала борьбу за сохранение территориального единства Грузии и консолидацию наций. В этом направлении «Иверия» провела определенную работу. С целью ознакомления читателей с культурой и бытом населения различных уголков Грузии она широко освещала жизнь их обитателей.

С другой стороны, конкретные интересы отдельных народностей увязывались с общегрузинскими и массы призывались к осуществлению единого плана действий. «Иверия» принципиально ставила вопрос о духовном сплочении населения Аджарии с Грузией, от которой оно было отторгнуто в течение 300 лет, и обращалась к ответственности с призывом: «На нас возложена большая и важная ответственность: братьев надо встречать по-братски везде и всегда, надо заботиться о них так же, как о себе, бороться за их интересы, как за свои. Если побратаемся в беде, поможем в беде, — установление между нами нерушимой связи несомненно» («Иверия», 1879, № 1, с. 138).

В деле сплочения грузинского народа редакция большую роль придавала литературе и театру. Назначение, характер театра должны быть национальными. В нем, как в фокусе, должно сосредото-

читься все то, что определяет суть народа. Театр призван выявлять и вызывать у зрителей патриотические чувства. Поэтому «Иверия» заостряла внимание на необходимости создания национального репертуара и характерного образа представителя грузинского народа.

Требования свободы для малых народов аргументировались многими доводами. В одном случае на передний план выдвигались интересы угнетенных и подчеркивалось, что самостоятельность позволит им развиваться всесторонне, выйти на мировую арену и принять активное участие в международной жизни. С другой стороны, проблема рассматривалась в правовом аспекте. «Иверия» считала, что борьба за самостоятельность не только личное дело кого-либо конкретного народа, а вопрос всего человечества, вопрос, который любая прогрессивная личность должна решить положительно.

Остро критиковала газета царизм. Редакция боролась с самодержавной империей и приветствовала Россию Чернышевского и Добролюбова. И. Чавчавадзе и его последователи признавали большую роль России в жизни грузинского народа. Я. Гогешвили подчеркивал, что «это политическое единство, нерушимая связь с Россией была и будет бесценным кладом». Редакция хорошо понимала, что Россия спасла грузинский народ от физического истребления, открыла широкую дорогу к цивилизации и прогрессу, и поэтому светлое будущее страны связывала именно с Россией.

«Иверия» был чужд национальный партикуляризм и безграничный эгоцентризм. Это лучше всего видно по одному из внутренних обозрений И. Чавчавадзе, где отмечено: «У нас любовь к родине другого свойства, другого характера: она подчиняется только святому чувству. К этому чувству кроме собственных интересов не примешивается ничего. Ни ненависть к кому-либо, ни желание подавить кого-либо или сделать несчастным. Наши патриоты желают блага нашей нации, без чего невозможны жизнь и развитие любого народа. Наши патриоты мечтают о достижении счастья страны светлым и прямым путем. Путем, который не пройдет через несчастье других» («Иверия», 1883, № 1, с. 131).

Публицисты проявляли уважение к другим нациям. В этом отношении следует отметить политические обзоры И. Чавчавадзе, «Дело османской Армении» П. Умикашвили, «Судьбу евреев» Г. Туманишвили и другие.

По мнению редакции, для достижения ощутимых результатов необходимо объединение всех социальных сил. Большое значение в этой борьбе придавалось помощи со стороны других народов, особенно передовой части российской общественности. При аргументации отдельных требований редакция не раз опиралась на взгляды прогрессивных русских деятелей. И. Чавчавадзе, например, цитировал сотрудника «Русской речи», который говорил, что русский и грузинский народы — братья, а узы братства тре-

буют оказания друг другу бескорыстной помощи.

Это высказывание редакция считала выражением чаяний не только передовых слоев русского, но и грузинского общества.

Таким образом, «Иверия» во многом способствовала духовному воспитанию грузинского народа. Она ослабила позиции царизма, чем определенным образом служила делу освободительного движения России.

Заслуга «Иверии» — и в защите интересов трудящихся, особенно крестьянства. Борьба за улучшение его положения признана благородной задачей. «Иверия» рисовала объективную картину действительности: крестьянин необразован, религиозен, согбен под тяжестью гнета, но в нем все же в избытке заложены здоровые инстинкты, знание жизни и сила. В «Отаровой вдове» И. Чавчавадзе выразил эту мысль следующим образом: «Мы, — говорил князь Арчил (Н. Т.), — по существу — сделаны, они (крестьяне. — Н. Т.) — сотворены. Мы сшиты на живую нитку, они прошиты строчкой — той самой строчкой, которую владеет только природа. Ты знаешь, какой великий мастер природа! Они точно на извести замешаны, а мы какие-то рыхлые, дряблые».

Смело можно утверждать, что ни одно периодическое издание до «Иверии» не отображало жизнь крестьян так всесторонне. С этой точки зрения, одинакового интереса заслуживают как произведения художественной литературы, так и публицистика. Если в первых даны обобщенные образы крестьян

и представлена широкая панорама их жизни, то во второй рассмотрены текущие вопросы, а также намечены практические мероприятия.

«Иверия» боролась не только за улучшение экономического положения крестьян, но и за повышение их образования. По мнению И. Чавчавадзе, учеба, знание, наука — это такая сила, которой сегодня не может противостоять ничто: ни кулак, ни меч.

Исходя из этой концепции, газета оказывала помощь крестьянам в открытии школ, критиковала недостойных педагогов, заботилась о совершенствовании учебников и т. д. «Иверия» была энциклопедическим изданием, с помощью которого ее постоянные читатели приобретали разносторонние знания.

Газета эта была первой заступницей и защитницей крестьянства. Ее сотрудники разоблачали виновных, создавали определенное общественное мнение.

Очень важно и то, что «Иверией» был создан идеал — управляемая народом демократическая республика. Об истинных политических симпатиях И. Чавчавадзе и его единомышленников можно судить по обширному материалу — отчету судебного процесса над Верой Засулич, которая была представлена мученицей за правду.

«Государственная преступность часто меняет свой лик: то, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня или завтра будет считаться большим вкладом в дело гражданского благосостояния. Государственная

преступность зачастую лишь заранее высказанная доктрина о преждевременных изменениях, зачастую провозглашение того, что еще недостаточно созрело и для чего еще не настало время. Сказанное не дает права признать государственного преступника подлым человеком, человеком, проклятым обществом» («Иверия», 1878, № 18, с. 19).

Такая позиция была не только смелой, но и оправдывающей революционеров; она служила призывом к дальнейшим действиям.

Газета знакомила читателей с устремлениями социал-демократов. В одном из политических обзоров сказано: «Наблюдения над жизнью показали социал-демократам, что причина всяких бед общества коренится в экономическом неравноправии... Таким образом, основная и благородная задача общества состоит в ликвидации этой причины, ликвидации раскола между трудом и капиталом. Для этого рабочим надо предоставить собственные орудия производства, чтобы они были и производителями, и хозяевами произведенного ими продукта, чтобы каждый безраздельно принадлежал им...» («Иверия», 1877, № 5, с. 6—7).

Большой вклад внесла «Иверия» в развитие грузинской художественной литературы. С ее помощью широкая общественность знакомилась со многими блестящими произведениями Г. Орбелиани, Р. Эристави, И. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Церетели, Н. Ломоури, Е. Габашвили, А. Казбеги,

Важа Пшавела, Э. Ниццили, Ш. Арагвиспирели и других, а также с памятниками грузинской классической и зарубежной литературы.

Редакция смотрела на литературу с позиций той пользы, которую она способна принести обществу. Однако это не было односторонним утилитаризмом. С точки зрения газеты, литература должна способствовать политическому самоопределению нации, просвещению читателя и повышению его эстетического вкуса. Литература расценивалась как средство установления тесной связи с массами, воспитания и духовного очищения, направления их творческой энергии по демократическому руслу.

В «Иверии» напечатаны произведения, со временем вошедшие в сокровищницу грузинской литературы. — «Отшельник» и «Дмитрий Самопожертвователь» Ильи Чавчавадзе, «Лик царицы Тамар в церкви Бетани» Г. Орбелиани, «Аспиндзская битва» Р. Эристави, «Есть место» В. Орбелиани и другие. О патриотической лирике в «Иверии» наглядное представление дает «Родина хевсура» Р. Эристави.

Не случайно появился на страницах «Иверии» образ отчаявшейся бесправной личности («Мать Майя» С. Мгалблшвили, «Али» Н. Ломоури, «Кона» Е. Габашвили, «Обездоленная семья» А. Мирианшвили и др.), напоминая читателю о царившей несправедливости.

Повторно и более полно было напечатано здесь и «Несколько картин или эпизодов из жизни разбойника»

И. Чавчавадзе — произведение, направленное не только против крепостничества, но и против всякого угнетения вообще.

Художественная литература, представленная на страницах «Иверии», ощутило расширяла кругозор читателей, вооружала их демократическими идеями, по могла лучше разбираться в сложных условиях тогдашней жизни.

Опубликованные здесь с критические материалы содействовали правильному направлению литературы процессам. Их авторы — П. Умикашвили, Я. Гогебашвили, И. Мачабели, С. Чрелашвили, Е. Иоселиани, К. Абашидзе и другие — коснулись многих вопросов и дали верную оценку отдельным литературным произведениям и процессам. Они боролись не только за высокоидейную, но и высокохудожественную литературу, что само по себе уже имело принципиально важное значение для того времени, когда наблюдалось явное проникновение суррогатов в литературу и умаление роли художественной формы.

Критики требовали логической аргументации действий персонажей, освобождения произведения от излишеств, соблюдения чистоты литературного языка и т. д. «Иверия» утвердила основные принципы реалистической эстетики, впервые с такой смелостью примененные в грузинской действительности шестидесятниками. Роль газеты в укреплении критического реализма безгранична.

«Иверия» продолжила дело совершенствования литературного языка, начатое «Сакартвелос моамбе». При этом редакция опиралась на народную речь, древние памятники грузинской письменности, широко используя забытые, но весьма необходимые слова, с большой осторожностью внося в то же время в язык неологизмы. Газета заботилась не только о расширении лексического фонда, но и о соблюдении грамматических форм, правильном их употреблении.

Г. Кипшидзе вспоминает, что редактор «большое внимание уделял богатству языка, его закономерностям, характерному для грузинского языка порядку слов и образному выражению мысли. Сам был прекрасным знатоком его и всячески старался, чтобы публикуемый в газете материал был написан на чистейшем грузинском языке. Руководство этим делом он взял на себя и привлек к нему и нас, молодых (Сборн. «Смерть и похороны Ильи Чавчавадзе», 1907, с. 99).

И. Чавчавадзе внедрил в грузинскую журналистику метод коллективной работы. Под его руководством подлежащие публикации материалы рассматривались на редакционных совещаниях. Благодаря этому, во-первых, равномерно распределялась и оперативно выполнялась работа и, во-вторых, на основе высказанных замечаний материалы, предназначенные для печати, отшлифовывались еще тщательней.

«Иверия» была наилучшей школой журналистики.

Она взрастила поколения журналистов, которые на протяжении ряда лет вели плодотворную публицистическую деятельность. И. Чавчавадзе прививал новому поколению публицистов бескорыстную любовь к отечеству, преданность делу, высокие профессионализм и принципиальность.

Ни один грузинский периодический орган не освещал так широко научных вопросов, как «Иверия». Особо следует отметить тот вклад, который она внесла в дело развития картологии.

Поставленные в научных трудах вопросы рассмотрены в широком аспекте. Исследователи убедительно доводили до читателей важные факты, закладывали основу для разработки некоторых проблем и способство-

вали развитию критической мысли. Некоторые труды П. Иоселиани, Д. Баратадзе, Д. Джанашвили, А. Цагарели, Н. Мтварелашвили и других и по сей день не утратили своего значения.

Разносторонность и последовательность освещения газетой тех или иных вопросов и тем, разнообразие форм подачи материалов усиливали их влияние на читателя. А. Лейст справедливо замечал, что «Иверия» становилась в один ряд с лучшими европейскими изданиями.

Способствуя формированию грузинского народа в нацию, повышению уровня его образования и самосознания, организации масс для борьбы за светлое будущее родной страны, «Иверия» заняла почетное место в ее истории.

Эстафета свободы неодолима!

О чем я могу сказать вам, знающим Илью Чавчавадзе наизусть, чтобы поняли вы, сколь важен и дорог этот человек для меня? Думаю, что в любом случае разговор такой будет обращен к размышлениям о вечности, о гордости и достоинстве, о времени, о свободе.

Мир, в котором родился Илья Чавчавадзе, и мир, в котором он умирал, были непохожи. В мире, который умирающий Илья обводил последним своим взглядом, было куда больше надежды на то, что свобода и справедливость будут, наконец, завоеваны; еще пахло порохом 1905 года и всего десять лет оставалось до 1917-го. Впоследствии великий Галактион скажет, что гибелью Чавчавадзе завершилась целая эпоха; не зная еще, что это и есть предвестники нового времени и его поэзии, в Кутанской гимназии уже спорили об учениках ее — Табидзе и Маяковском...

Великий Илья закрывал глаза в мире, где родной народ его разговаривал, думал и мечтал куда достойнее, чем в год рождения Ильи Григорьевича. И в том, что это произошло, была огромна его, Чавчавадзе, роль!

Он умирал, уже погрузившись в реку бессмертия. Он умирал — такой великий, что в одну лишь литературу вместиться не мог.

И все-таки год рождения и год смерти Ильи Чавчавадзе соединены не только полетом вечности.

Они соединены и полетом пули.

В год рождения Ильи пуля прекратила жизнь Пушкина, пронзив тело сына России, пламенно любившего Кавказ и думавшего о ваших достоинстве и свободе.

В год рождения Ильи был выкуплен из крепостного рабства Тарас Шевченко, великий сын Украины, написавший гениальную поэму «Кавказ» — о вашей борьбе против унижения и несправедливости. Его уже ищет все та же пуля, он скоро погибнет...

Но родился великий Илья! Дух свободы нельзя убить сразу во всех душах — народы передают его, как самый дорогой залог своего бессмертия — эстафета свободы неодолима! Даже когда все та же пуля остановит сердце Ильи Чавчавадзе — она не поможет убийцам.

Пуля эта летала по свету и прежде, пуля эта не остановилась и сегодня; десять лет назад был убит ею Мартин-Лютер Кинг; пуля эта универсальна, помещаясь в стволе дуэльного пистолета, бандитской берданки и современного оружия. Но — это самая бес-

Выступление на юбилейном вечере, посвященном 140-летию со дня рождения И. Чавчавадзе, в Тбилиси 29 мая 1978 года.

сильная и подлая пуля, нацеленная в свободу, в братство народов, в человеческое достоинство. Только ведь мы знаем несокрушимую мощь объединяющего нас братства: когда народы стоят в тесном сплочении, плечом к плечу, ни один достойный человек — даже убитый — не может упасть из этого сплоченного ряда наземь — никогда!

Чавчавадзе бессмертен. Бессмертны Пушкин, Шевченко — все великие Георгии, Акакии, Иваны, Тарасы, Ильи мира, — и никаким оружием нельзя расставлять точки в их биографиях, в их судьбе — потому что это судьба народа. Они разговаривают до тех пор, пока есть у народа его речь, память, достоинство, пока народ не становится трагически нем и слеп, — они вечны!

...Еще раз оглянемся во времени. Что случилось в мире сто сорок лет тому назад? Американец Самюэл Морзе придумал свой аппарат и азбуку, в Канаде построили железную дорогу, Чарльз Диккенс опубликовал в Англии «Оливера Твиста» и «Пиквикский клуб» — произошло немало больших событий во всех сферах человеческой жизни. Но благодарное человечество накрепко запомнило и празднует именно День Ильи, Илиаоба, потому что души целых народов озаряются таким Днем.

Чавчавадзе остро национален и в то же время универсален, как любой по-настоящему великий мыслитель. Когда Леся Украинка влюбленным сердцем читала его за несколько лет до своей смерти, она, конечно же, ощущала правоту одного из прекрасных лозунгов народных восстаний — «За вашу и нашу свободу!». Давайте задумаемся на миг — ведь, честное слово, будь я негром где-нибудь в сегодняшней Южной Африке — насколько умножились бы мои силы от знания жизни и произведений великого Ильи! Прекрасно ощущать это — но еще лучше знать, что Чавчавадзе родился в своем собственном народе, как символ его высокой зрелости, что Грузия дозрела — философски, революционно — до состояния, которое называется Илья Чавчавадзе! До чего же радостно видеть, как народ Советской Грузии почитает и хранит в себе великое богатство священного духа и ума Ильи, как щедро делит его с миром.

Кланяюсь вам, потому что вы научили его говорить и дышать, а теперь уже никогда не сумеете разговаривать и дышать без него, ибо неотделим он от ваших жизни и речи.

Кланяюсь вам, потому что вы братья Советской Украины, мои братья, значит, Илья Чавчавадзе мой старший брат, а такое родство надо оправдывать всю жизнь.

Кланяюсь вам, потому что все пули, вся злость, вся неправда преодолимы, когда рождается в мире великий Илья — для своего собственного народа и всех других. Нет расстояния между Илей Чавчавадзе и Тарасом Шевченко, нет расстояния между сердцами Украины и Грузии, навсегда бьющимися рядом!

У нас есть поверье — наверное, подобное и у вас есть, — что родители, которые хотят, чтобы дитя их было умно и красиво, должны перед его рождением думать о прекрасном и великом, окружать себя мудростью и красотой. Так давайте же думать об Илье Чавчавадзе, чтобы дети наши росли такими, как он, — залогом бессмертия родины и народа.

Давайте вместе думать о нем — будем его достойны!

Спасибо вам за Чавчавадзе!

КРЕПЯ СОЮЗ СЕРДЕЦ

РУССКО-ГРУЗИНСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Самоотверженная любовь к Родине, идеи торжества свободы и правды всегда были содержанием и движущей силой русской и грузинской литератур. В годы Великой Отечественной войны в переключке с героическим прошлым, в осознании сегодняшней ответственности перед Родиной, в заботе о ее будущем наши литераторы мужали, набирали новую идейную и художественную высоту.

Грузинская поэзия и проза вносили свой вклад в духовное вооружение советских людей, мужественно отстаивавших на фронте и в тылу свободу и независимость Отчизны. Поэты славили беспримерный патриотический подъем советского народа, его героические подвиги, укрепляли веру в грядущую победу, показывали несокрушимую силу дружбы народов, боевое братство, навеки скрепленное кровью, пролитой в борьбе с общим врагом. Вместе с тем они рас-

крывали, как в суровых буднях войны кристаллизовались не только боевые качества людей, но и их высшая человечность, богатство душевного мира, как до конца осознавались ими такие вечные понятия, как долг, свобода, гуманизм.

Книги, подобно воинам, сражались на фронте, в партизанских отрядах, в ленинградской блокаде, в окопах Сталинграда. Они помогали бить и уничтожать врага.

Интересны в этой связи воспоминания командующего Закавказским фронтом И. В. Тюленева: «В те суровые дни командиры и актив подразделений не забывали о книгах и постоянно заботились о том, чтобы такие произведения, как «Непокоренные» Бориса Горбатова, «Радуга» Ванды Василевской, статьи и очерки Ильи Эренбурга, Алексея Толстого и других, были в ротных библиотеках-передвижках. Особую ценность для меня представляет военное издание

романа К. Гамсахурдиа «Десница великого мастера». Он напечатан мелким шрифтом на серой дешевой бумаге. Он дорог мне не только потому, что на обложке есть надпись: «Командующему Зап. фронтом генералу армии И. В. Тюленеву с глубоким уважением К. С. Гамсахурдиа», а потому, что роман о древнем зодчем Грузии рождал патриотизм в душах советских воинов, будь то русские, украинцы, грузины, армяне или азербайджанцы, ибо они понимали, что история Грузии — это часть истории всей нашей страны.

С Константином Семеновичем Гамсахурдиа я встречался много раз. Мы говорили о славном прошлом Грузии, об общности национальных и культурных интересов русского, грузинского и других народов СССР, о судьбе литературного наследия А. Церетели, А. Чавчавадзе, Н. Бараташвили.

Опыт переживаний миллионов советских людей обострил и углубил взгляд, придал весомость чувствам и переживаниям. Еще более обогатилась тема патриотизма потому, что чувство Родины стало у советского человека глубже, шире, полнее.

На переднем крае литературного фронта, как всегда, в моменты суровых испытаний находилась поэзия. И не только гражданская. Интимная лирика была нужна не меньше, чем патетика. Люди жили общенародным, но личные чувства, еще более обострившись, тесно связывали бойцов с родной землей, с домом, с теми, кого

они защищали своей кровью. Песня, стихи буквально стали первостепенной духовной потребностью людей.

Наглядной иллюстрацией сказанного может служить яркое отражение в творчестве как грузинских, так и русских поэтов исторической битвы за Кавказ. У подступов к нему стояли воины всех братских народов Советской страны, стояли Константин Леселидзе и Иван Петров. Всех объединяла одна цель — не пропустить врага, даже ценой собственной жизни.

Поэт Ираклий Абашидзе в дни боев приехал в Нальчик. В это время в бой с наступающим врагом вступали два грузинских соединения: одно в направлении Новороссийска, другое — Моздока. Они уже понесли первые потери, похоронили первых погибших. Ираклию Абашидзе, по его же словам, захотелось «сказать что-то очень теплое», «выразить чувство всенародного преклонения перед теми, кто не щадя жизни сражается за Родину». Так родилось стихотворение, которое и поныне любимой песней живет в народе. Это — «Капитан Бухаидзе» — о герое, который телом своим преградил врагу путь к Дарьялу. После опубликования стихотворения в дивизионной газете его подхватили грузины-воины, стоявшие в Баксанском ущелье, а оттуда оно перекинулось на другие участки фронта.

На русский язык стихотворение И. Абашидзе перевела Вера Звягинцева. Опубликовано в «Правде» 15 мая 1944 года, оно сразу же при

обрело огромную популярность на фронте и в тылу. Так же легко и свободно, как в оригинале, лились слова, с которыми мог обратиться к своим живым соратникам мужественный грузин, погибший у ворот Кавказа:

Я, грузин Бухайдзе. Повержен
Вражьей пулей в Кавказских
горах.

Если б мог я воскреснуть
из мертвых,
Если б ожил внезапно мой
прах,

Я бы отдал опять свое сердце
Милой родине в грозном бою...

В дни исторической битвы за Кавказ А. Абашели написал свое призывное стихотворение «Не подпускай, бей врага!». С такой же силой прозвучало стихотворение А. Машавили «Казбек» — монолог Казбека, в образе которого олицетворен народ, разгневанный нашествием врага и готовый всем существом своим защитить Картли.

Грузинские писатели во главе с Шалвой Дадиани после поездок на фронт выступали в газетах с очерками и стихами, в которых рассказывали о героях Отечественной войны.

Битва за Кавказ нашла отражение и в творчестве русских поэтов, в частности Ильи Сельвинского. В 1943 году он создает стихотворения «Бой под Малгобеком» и «Битва за Кавказ». Первое начинается традиционным для русской поэзии воспеванием Кавказа, идущим от Пушкина, сохраняемым большинством поэтов, каждый из которых стремится

выразить свое отношение к красотам этой высокогорной страны.

Но более всего ценит поэт свободулюбие Кавказа, его непреклонность в борьбе с врагами. После такого вступления автор переходит к основной теме стихотворения — битве под Малгобеком, где врагу был нанесен сокрушительный удар. «Битва за Кавказ» посвящена командующему Северо-Кавказским фронтом генералу Ивану Петрову и написана в форме рапорта участников этой битвы...

В суровые дни обороны Кавказа в рядах войск, оборонявших его, находился и писатель Петр Павленко. Грузия, по его словам, стала для него второй родиной. В Тбилиси протекало детство П. Павленко, здесь он окончил среднюю школу, здесь на партийной работе сформировался как общественный деятель и журналист. Естественно, что все, связанное с Грузией, было ему необычайно дорого и глубоко волновало. В рассказе «Ночь в Гелати», написанном еще до войны, были примечательные строки: «А что, если б действительно опасность угрожала этому монастырю? Что бы я тогда делал? Не раз и не два ударил бы я тогда в колокол, чтобы разбудить долину и созвать людей на этот высокий горный гребень. Мы защищали бы его с мужеством, которого требует история Гелати.

...Есть в лунной грузинской ночи нечто такое, что навеки вошло в русскую душу и неотделимо от нее. В

темной дали времен началось наше родство, оно крепло в общей борьбе, оно предстало в нашей поэзии, в нашей музыке, обогатив нашу душу тончайшими оттенками радости и восторга.

...Нет, в любую тревожную ночь я не оставил бы одинокой Гелатской горы.

...Мы в самом деле умерли бы на горе Гелати, защищая ее».

Слова П. Павленко оказались в какой-то мере пророческими. Когда грянул гром Великой Отечественной войны, писатель в качестве военного корреспондента «Правды» и «Красной звезды» был в рядах воинов Закавказского фронта.

«Тот, кто знал полковника Павленко на фронте, — вспоминал писатель Борис Горбатов, — тот знал, что это был человек редкой храбрости, храбрости очень чистой, не показной, не картинной, а именно настоящей большевистской храбрости».

Многие из корреспонденций П. Павленко были опубликованы в годы войны в газете Закавказья «Боец РККА». Они вдохновляли, звали, мобилизовывали воинов на выполнение священного долга. П. Павленко писал о тех, кто насмерть стоял на заснеженных перевалах Кавказа, кто готов был пожертвовать жизнью, чтобы спасти Грузию от нашествия врага.

В 1942 году в Тбилиси издательством «Заря Востока» была выпущена небольшая, но обладавшая огромной силой воздействия на читателя книжка П. Павленко «Героический сын грузин-

ского народа». В ней рассказывалось о Григории Сулухия — молодом красномейце из грузинского городка Зугдиди, попавшем в плен к фашистам. В самые тяжелые часы жизни раскрылись его духовная красота, отвага, необычайное мужество.

Когда в мирную жизнь советских людей ворвались первые раскаты второй мировой войны, Н. Тихонов находился в гостях у друга — Георгия Леонидзе, в Цхети. Узнав о нападении гитлеровской Германии на Польшу, друзья поспешили в Тбилиси.

В трудные минуты жизни, перед лицом опасности всегда думаешь о самом дорогом и близком. И русский поэт, воспевший Грузию в необычайно лирических, проникновенных стихах, поднялся на Мтацминду. С вершины горы, возвышающейся над грузинской столицей, он вознес «моление к небу, чтобы война не коснулась красоты этого города, не превратила ее в груды развалин». Это была молитва сыну Грузии.

Д. Ортенберг, тогда редактор газеты «Красная звезда», пишет, что Н. Тихонов «потерял покой, когда немецко-фашистские войска прорвались к Кавказу. Кавказ — старая любовь Николая Семеновича». За Кавказ поэт воевал своим разящим, как острая стрела, писательским оружием.

Поэт Михаил Дудин вспоминал, как в неотопляемой квартире Тихонова, «в темные голодные вечера 1942 года собирались молодые ли-

тераторы — и сколько было поразительного оптимизма в тех беседах, часто прерываемых обстрелом и бомбежкой». Нередко в беседах вставал образ милой Тихонову, но такой далекой в те дни — Грузии.

«В снегах Ленинграда мы часто вспоминали Вас и радовались, что ужасы войны от Вас далеки, — писал Н. Тихонов своему другу поэту Сандро Шаншиашвили в 1942 году. — Иногда до боли хотелось перенестись в Тбилиси, но только во сне это было нам доступно... Живите мирно, вспоминайте далеких ленинградских друзей и помните, что Вас, милые мои, помнят и любят, и никакая вражеская атака и блокада этого не в силах разрушить».

Сандро Шаншиашвили, высоко ценивший талант и мужество русского поэта, горячо любивший его как друга, сказал о Тихонове, что он «был, есть и будет героем. Это геройство проявилось не только в войне, нет. Это геройство в его отношении к людям, странам, миру. А для меня, как грузина, конечно, в первую очередь, к Грузии». Эта же мысль с большой силой выражена им в посвященном Н. Тихонову стихотворении «Поэту-борцу».

Участие в героической обороне Кавказа грузинских и русских писателей было тем плацдармом, на котором еще более крепки и закалялись в военные годы их дружба и братство.

«Скрытая теплота патриотизма», как точно определил в «Воине и мире» Л. Н. Толстой, с необыкновенной силой проявилась у лучших

представителей грузинского народа, защищавших Родину на всех фронтах Великой Отечественной войны. Илья Эренбург называл имена героев-грузин: «Москву защищал артиллерист генерал Леселидзе. В боях за Севастополь прославился Михаил Гахокидзе. На полях у древнего города Ржева грузин Чанчибадзе в трудный для наших войск час отдал приказ: «Мертвых похоронить, живые вперед!».

Подвиги героических сынов Грузии запечатали не только грузинские, но и русские поэты и писатели. В их числе — поэт Илья Сельвинский. Это не было случайностью, ибо любовь к Грузии, дружба с грузинскими писателями зародилась у него еще до начала Великой Отечественной войны.

В 1941 году в Севастополе Илья Сельвинский написал свое известное стихотворение «Капитан Цурцумия».

Образ грузина вдохновлял творческое воображение поэта и прежде. «У меня было и есть много друзей-грузин, — рассказывал И. Сельвинский. — Среди них старые революционеры, герои гражданской войны и периода реконструкции... Я видел грузина - революционера, борвшегося за установление Советской власти на Севере, встречался с грузинами рыбаками на Камчатке и Чукотке». Их смелость, решительность, необычайную энергию воплотил Илья Сельвинский в образе секретаря райкома, работавшего на Дальнем Севере, в известной своей трагедии «Умка-Белый медведь».

Теперь же в поэзии И. Сельвинского появляется новый образ грузина—героя Отечественной войны. Восхищение мужеством и отвагой военного летчика Цурцумия продиктовало поэту вдохновенные строки, раскрывающие героизм и самоотверженность патриота:

Цурцумия! Это имя
Враги вспоминают кляня!
Оно произносится ими,
Как имя Духа Огня!..
Недаром ни грохот зениток,
Ни пули наземных бойцов
Не в силах сразить знаменитых
Звенящих его басов.

Стихи эти были написаны, по словам И. Сельвинского, «в грозном 1941-м, в Севастополе, ночью... при свете пожара, которые вспыхивали от бомб, сброшенных героем-летчиком Цурцумия. Он словно говорил мне: ну, что, поэт, вот я и осветил тебе ночь, не теряй времени!».

Перу Ильи Сельвинского принадлежит и стихотворение «Баллада о боевом знамени», посвященное другому герою-грузину Ираклию Думбадзе, спасшему боевое знамя полка. Строки его передают, как ответствен подвиг и как смертельно опасен путь к нему того, кто возьмется его совершить:

На льду лежат боевые шелка.
Смертелен путь к тебе, шелк!
Но знамя полка — это честь

полка,

Знамя полка — это полк!

Нужно вскарабкаться, нужно
добраться...

Чей же отважен дух?

И вот отозвался боец

Думбадзе,

Высокогорный пастух.

Находясь в действующей армии, И. Сельвинский часто вспоминал дни своего пребывания в Грузии, друзей грузинских поэтов. Об этом можно судить по его письмам, теплым, взволнованным, в каждой строчке которых дышит любовь к нашей республике и ее народу. Вот одно из писем, адресованное Ираклию Абашидзе: «Действующая армия 14—I—43.

Дорогой Ираклий!

Сижу сейчас в хате у тракта. Метель. Ждем, когда успокоится. Воспользовавшись паузой, пишу друзьям письма. С большой теплотой вспоминаю о времени, проведенном в Тбилиси, и о своих грузинских друзьях! Если не говорить о Москве, то в Союзе нет другого такого города, где бы я чувствовал себя так хорошо и уютно, как Тбилиси. И это я объясняю, конечно, не столько самим городом, сколько людьми, а точнее—друзьями. Очень вы, грузины, милые люди. Я как-то сроднился с вами. Всем сердцем... Было у меня такое ощущение внутренней легкости от того, что меня окружают друзья..., ощущающие большие вопросы искусства во многом так же, как и я. Для нас, поэтов, это ведь дело первостепенной важности. Ки, батано?

Обнимаю тебя дружески—и в твоём лице всю милую Грузию и её литературу. Илья Сельвинский».

Снайперу Георгию Девдариани посвятил одно из своих стихотворений поэт Георгий Суворов. С первых дней войны и до последнего дня жизни (14 февраля 1944 г.) он, гвардии лейтенант, командир взвода бронейщи-

ков — истребителей танков, находился в действующей армии, на передовой и был свидетелем героизма рядовых воинов, их мужества и отваги. Об одном из них — воине-грузине и рассказал он в стихотворении «Хороший комиссар у нас...». Образ бойца-грузина, беседуя с комиссаром и совершающего свой ратный подвиг, раскрыт через главную черту его характера — любовь и преданность Родине и ненависть к врагам, посягнувшим на ее свободу.

Поэт Евгений Долматовский написал стихотворение «Помнят люди», в котором запечатлен подвиг воина-грузина Георгия Джапаридзе, спасшего знамя кавалерийского полка и прославившего его боевыми заслугами. В основе стихотворения — подлинный факт суровых дней войны: захваченный немцами Г. Джапаридзе, стремясь спасти знамя, обернутое вокруг тела под гимнастеркой, выдал себя за жителя близлежащего белорусского села. Немцы привели его в дом, где Джапаридзе, указав на незнательную молодую женщину, объявил, что это его сестра. Женщина, догадавшись в чем дело, признала в нем «брата» и тем самым спасла ему жизнь. В ту же ночь Г. Джапаридзе повезло еще раз — он нашел товарищей, вместе с которыми с боями вышел из окружения. Знамя полка было спасено.

Грузинские поэты и прозаики с своей стороны создавали произведения, посвященные героическим подвигам лучших сынов и дочерей русского народа. Некоторые из них вошли в сбор-

ник «Песни Победы», выпущенный в Тбилиси издательством «Заря Востока». Сборник, подписанный к печати 5 декабря 1941 года и вышедший в серии «В помощь агитатору», преследовал цель — помочь воинам в разгроме ненавистного врага, приблизить час победы. В сборнике было опубликовано стихотворение Симона Чиковани, посвященное бессмертному подвигу Гастелло:

Последний вздох свой ты
победе отдал,
И, как преданье о великих
днях,
Сердца сынов героического
народа
Твое навеки имя сохраняют.

(Перевод Б. Серебрякова)

Моряков Балтики прославляет в сборнике Александр Абашели, о столице Родины — Москве, ставшей фронтовым городом, пишет Ираклий Абашидзе.

Героическому городу Ленина посвятил вдохновенные строки поэт Георгий Цагарели. Лейтмотив его стихотворения «Ленинград» — это стойкость и непобедимость твердыни на Неве. Стихотворение было опубликовано в небольшой книжке Г. Цагарели «Дни гнева», вышедшей в 1942 году в Тбилиси.

Большую популярность в годы Великой Отечественной войны приобрело стихотворение Иосифа Нонешвили «Зоя Космодемьянская» в переводе А. Тарковского.

В конце стихотворения звучит в духе народных плачей обращенный к девушке страстный зов, который как

бы дорисовывает облик героини и, вместе с тем, через личные чувства автора передает отношение к ней миллионов советских людей:

**Взрагивая над могилой,
Меркнут созвездия ночи.
Встань! Для чего ты закрыла
Эти горящие очи?**

**Из-под печальной березы
Встань, словно дева Победы!
Матери, льющей слезы,
Повесть бессмертья поведай.**

**Выйди из мертвой пустыни
Сильная и молодая,
Пусть на груди героини
Рдеет Звезда Золотая...**

В годы Отечественной войны продолжала действовать еще одна форма связей — личные контакты.

Писатели, разъединенные огненными верстами, всей душой были друг с другом. Они думали друг о друге, делились мыслями, переживаниями. Борис Пастернак, например, с шутливой гордостью писал Н. А. Табидзе 14 сентября 1941 года: «...У меня открылось множество военных качеств, я дежурил во время бомбардировок, оказался снайпером по стрельбе в цель и вообще в опасности чувствовал себя как на грузинском банкете...».

В суровых условиях армейских будней помнил Грузию Виктор Гольцев, много сделавший для того, чтобы произведения грузинской литературы стали достоянием миллионов масс русских читателей. В этом до войны он видел свой долг литератора и писателя. — А

после нападения на Родину фашистской Германии — таким же долгом он считало средственное участие в разгроме врага.

— Как уходил он всей душой в грузинские книги, — вспоминает Н. Тихонов, — так теперь он изучал штурманское дело, трудное, сложное, совсем особое, с такой страстью, как будто он мечтал всю жизнь летать на бомбардировщиках дальнего действия.

И летал на ответственные дальние задания, не раз подвергался смертельной опасности, участвуя в бомбежке вражьих гнезд. Он нес службу корреспондента «Красного сокола» и службу штурмана рядом с боевыми товарищами-летчиками.

В таких трудных условиях, когда времени не хватало даже на сон, В. Гольцев шлет письма И. Абашидзе и другим грузинским друзьям, не забывает послать приветствие А. Абашели, объясняя задержку письма: «Я находился на фронте и не имел возможности поздравить Вас. Делаю это теперь, с большим запозданием. Отношусь к Вам с большим и самым искренним уважением и шлю Вам свои наилучшие пожелания».

Чувство любви, симпатии, искреннего восхищения подвигом друга выразил в своем письме к В. Гольцеву писатель Серго Клдиашвили:

«...Вчера на столе Ираклия Абашидзе я случайно увидел твое письмо и узнал адрес. Узнал твой почерк и бесконечно был рад. Очень захотелось видеть тебя. Надеюсь, скоро настанет это время, и настанет в обстановке для всех нас радостной. Часто, очень часто твои

ное единству воинов братских республик перед лицом врага, было переведено на русский язык Ильей Сельвинским.

Сергей Спасский удачно перевел стихотворение С. Чиковани «Смерть бойца».

Владимир Державин перевел поэму Григола Абашидзе «Непобедимый Кавказ», в которой переплетались темы героического настоящего и прошлого Грузии. Образ города Тбилиси, вставшего на боевую вахту в годы Великой Отечественной войны, напоминал поэту о славных традициях его защитников — воинов Крцаниси, трехсот арагвинцев. Продолжателями этих традиций были советские воины, шедшие защищать Кавказ от гитлеровских захватчиков.

В годы Великой Отечественной войны в Тбилиси в издательстве «Заря Востока» вышли книги стихотворений и переводов Ивана Новикова, Владимира Орлова, Василия Каменского, Рюрика Ивнева и других.

На грузинский язык переводились произведения русских поэтов. Помимо опытных мастеров в это большое и ответственное дело включалась поэтическая молодежь. Вот что рассказывает Теймураз Джангулашвили: «Это было в первые месяцы Отечественной войны. Я делал робкие попытки перевести на грузинский язык понравившиеся мне стихи русских поэтов... В их числе был и Сергей Васильев. Одно его стихотворение я перевел и даже напечатал в районной газете.

В то время он — уже широко известный поэт — на-

ходил на фронте, боролся пером и штыком. Тогда, двадцать лет назад, четвертые прочитал я его «Трое у костра»: сидят три гвардейца у костра, а мне думалось, что я четвертый среди них, вместе со своими товарищами идущий на передовую. Я видел разоренный врагом дом, одинокую Наташу, которая находит во мне черты своего брата...».

Большой популярностью в Грузии в годы Великой Отечественной войны пользовались произведения Константина Симонова. Издательством «Заря Востока» отдельной брошюрой была выпущена в 1942 году пьеса «Русские люди», отражавшая высокие нравственные качества советских воинов, их беззаветную преданность Родине. В газете «Заря Востока» 30 мая 1944 года был опубликован очерк К. Симонова «Бессмертная фамилия» — о командире саперного батальона Савельеве, который разведывал для войск дорогу и пал смертью храбрых.

В мае 1944 года проходили в Москве вечера грузинской литературы. Это была первая встреча грузинских и русских писателей в годы Великой Отечественной войны. Николай Тихонов в статье «Великое братство», опубликованной в «Правде» 14 мая 1944 года, делился впечатлениями от встреч:

«Мы слушаем стихи, написанные не в Ленинграде, не в Москве, стихи, которые родились над быстрой Курой, над шумной Алазанью, в жарком Тбилиси, в прохладе горных долин у быстрого Терека... В стихах грузин-

ских поэтов есть пейзаж мира и пейзаж войны, потому что война подходила к пределам Грузии и была остановлена властной рукой Красной Армии. Грузинские стихи воспевают подвиг на фронте и подвиг в тылу. В стихах грузинских поэтов живет патриотизм, живет новое и благородное чувство советского гуманизма, который победоносно борется с черной человеконенавистнической идеологией фашизма».

С чтением стихов на вечерах выступали грузинские поэты и их переводчики.

Симон Чиковани по возвращении из Москвы в беседе с корреспондентом «Зари Востока» сказал:

— Мы убедились, что русские друзья знают и ценят наши произведения, что стихи, написанные грузинскими поэтами в годину суровых испытаний, находят живой отклик в сердцах людей. Огромную работу провели русские поэты, знакомившие читателей с нашими произведениями. Этому делу посвятили себя выдающиеся мастера русской поэзии. Мы приносим им свою горячую признательность за их любовный труд, за то, что они донесли голос нашего сердца до великого русского народа.

Огромный интерес общественности Москвы к творчеству грузинских писателей в майские дни 1944 года был ярким свидетельством действительности грузинской советской литературы как боевого оружия, как могучей силы, вдохновлявшей народ на подвиги во славу Родины. Он доказал и то, как поистине велик и непобедим союз сердец, которому посвятил вдохновенные строки Галактион Табидзе:

Когда у дома враг стоит,
Тебе, страны боец,
Наш Руставели говорит:
«Крепи союз сердец!».

Так, чтоб один за всех стоял
И все — за одного,
Чтоб волей твердой, как металл,
Добиться своего.

Народ бессмертен и велик.
Он — всех побед творец.
Какое счастье, что возник
Такой союз сердец!

Великая Отечественная война с силой, поразившей мир, выявила могущество союза людей разных национальностей, раскрыла неизблемость дружбы братских литератур, которые вместе с народом прошли и самые тяжелые, и победные дни и донесли до новых поколений дыхание того трудного и святого времени.



По закону братства

...Мы планируем ускоренное, интенсивное развитие всех отраслей сельского хозяйства... Немалая роль в этих наших планах отводится Нечерноземной зоне России. Обширный район в самом центре страны должен стать зоной высокопродуктивного земледелия и животноводства. Он значительно пополнит наши продовольственные ресурсы.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

(Из доклада «Великий Октябрь и прогресс человечества»).

Нечерноземная зона России. Огромная территория, простирающаяся от Урала до Прибалтики и от Украины до Северного Ледовитого океана. На западе — Ленинград и Псков, на востоке — Свердловск, на юге — Горький и Брянск и на севере — Архангельск; вот границы этого края. А всего в Нечерноземную зону входит 29 областей и автономных республик. Почти в самом центре Нечерноземья располагается Вологодская область. Четыре года назад, в канун Первой, в Вологду прибыл эшелон из Гори. Это был постоянно действующий строительный поезд треста № 3 Министерства сельского строительства Грузинской ССР. В порядке братской помощи 180 строителей из Гори должны были построить в Вологде деревообрабатывающий комбинат.

В Нечерноземье сейчас работают посланцы многих республик: в Ивановской — из Узбекистана, в Новгородской — из Армении, в Архангельской — из Украины и так далее. Вся страна помогает этой зоне. Надо сказать, что в первые годы

Советской власти помощь шла отсюда. Вспомним Кутаисскую суконную фабрику — ее ведь подарили Грузии ивановцы.

Принятое четыре года тому назад постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» имеет огромное значение не только для этого края, но и для всей страны. Ведь подъем сельского хозяйства здесь благотворно отразится и в Грузии, и в Армении, и в других республиках. Именно это имел в виду товарищ Л. И. Брежнев, когда говорил на XXV съезде партии, что «экономический и социальный прогресс советского общества — это прогресс Российской Федерации, Украины и Казахстана, Белоруссии и Молдавии, республик Средней Азии, Прибалтики, Закавказья. Сложившийся в пределах всей страны единый хозяйственный организм — это прочная материальная основа дружбы и сотрудничества народов».

ДАЛЕКО ОТ ГОРИ

Вологда находится как раз на полпути от Москвы к Архангельску. Город этот впервые упоминается в летописи в 1147 году. Окруженный густыми лесами, многочисленными реками, он был надежно защищен от врагов, татаро-монголы не сумели завоевать его. Недаром Иван Грозный даже собирался перенести сюда столицу, построил здесь Кремль и прекрасный собор, который сейчас украшает Вологду. Однако после строительства Петербурга, когда торговые пути переместились на запад, Вологда потеряла свое значение. Она стала местом ссылки политических заключенных. В 1911—12 годах здесь находился под негласным надзором полиции И. В. Сталин. В середине февраля 1912 года к нему приезжал С. Орджоникидзе, бывший тогда членом Русского бюро ЦК РСДРП(б), чтобы лично проинформировать о решениях Пражской конференции. В Вологодской губернии отбывал ссылку Алеша Джапаридзе, а Шалва Элиава в марте 1917 года стал первым председателем Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов.

В городском краеведческом музее хранится уникальная фотография демонстрации, которая состоялась в Вологде 19 апреля 1906 года. Она была вызвана похоронами Иосифа Хизанишвили, грузинского крестьянина, сосланного в Вологду за участие в Гурийском восстании. Несколько тысяч людей провожали в последний путь Хизанишвили. На кладбище состоялся митинг, в помощь семье революционера собрали 78 рублей. Вместе с деньгами в шапке оказались кольцо и золотой браслет. Через два дня газета «Северная земля» опубликовала обращение ссыльных к вологодскому обществу. В нем говорилось:

«Брошенные презренной рукой oprичников в тюрьмы и ссылки, мы ехали сюда с невеселыми думами. Здесь ожидали встретить вражду и холодное равнодушие. Мы ошиблись. Вы встретили нас, как братья, отзывчиво и горячо. Вы поняли

нас, и мы вас поняли, наши мысли сошлись в одну общую мысль.

Вы пожертвовали на семью сосланного из далекого революционера. Одна из вас сняла с руки кольцо, другая браслет. Грузины и грузинки, старые и молодые, придут и будут смотреть на них. Они вспомнят товарища Хизанишвили, зарытого в далекой земле, и мысленно пошлют свой душевный привет всем вам, дорогие граждане вологжане.

Деньги, кольцо и браслет семья Хизанишвили получила. Долгие годы дети хранили подарок неизвестной вологжанки. Сейчас браслет находится в Государственном музее Грузии. Удалось выяснить также, что сам Хизанишвили родом из села Ховле Горийского района. Вот такие нити связывают Вологду и Гори.

Сегодня мы можем сказать, что эти два города стали побратимами. И в этом заслуга горийских строителей.

МЫ ПРИЕХАЛИ РАБОТАТЬ

На окраине города, на берегу реки Вологды, высятся корпуса огромного комбината. Несколько лет назад здесь было болото. Строить комбинат начали не сразу, ждали, когда спадет вода. А пока люди были распределены по различным объектам. Трест «Вологдасельстрой», который является генеральным подрядчиком, выделил для горийцев новый 5-этажный дом. Один подъезд отвели под общежитие, остальные заселили семейные. Почти 70 семей приехало поездом. Люди знали, что едут на три года, поэтому забрали жен и детей. Надо сказать, что в Гори вернется народу больше — в Вологде уже родилось 18 детей, а Юрий Элизбарашвили, Вахтанг Мадзмишвили и Петре Чилингарашвили женились на вологжанках. У Юрия уже родился сын, которого назвали Мамукой. Юрию 24 года, но он уже успел побывать в Набережных Челнах, строил КамАЗ, в Вологде его назначили бригадиром. Несмотря на молодость, он оказался отличным руководителем. Его бригада бетонщиков считается одной из лучших.

В поезде преобладает молодежь. «Я здесь самый старей», — сказал Георгий Абуладзе. Начальник поезда и сидевшие в кабинете инженеры засмеялись, потому что слово «старый» никак не подходит к начальнику — ему 34 года. Главный инженер Геннадий Эминиди еще моложе — ему 28 лет. Правда, у него за плечами опыт казахстанскихстроек, где он работал в составе студенческого отряда ГПИ, за что награжден медалью «За освоение целинных земель».

Итак, им предстояло на болоте поднять корпуса крупнейшего деревообрабатывающего комбината. Стройка была объявлена ударной, о чем горийцам сообщили в обкоме партии, и была для области самой важной — и вот почему. Комбинат будет выпускать клеенные и облегченные деревянные конструкции для различных сельскохозяйственных сооружений. Таким образом, развернуть по-настоящему сельское строительство в области смогут лишь после пуска комбината. Для него было закуплено оборудование в Польше и ФРГ.

Сначала пришлось засыпать болото. Площадку подняли на целых два метра. А когда наступила зима, приступили к закладке фундаментов. Прораб Викентий Мгебришвили рассказывал, как тяжело приходилось в те дни. Мороз достигал 26—30 градусов, работали на ветру, фактически в открытом поле. Зимой здесь темнеет очень рано, где-то часа в четыре уже приходилось включать прожекторы. Работали постоянно в две смены.

Секретарь парткома треста «Вологдасельстрой» Георгий Наумов делился со мной: «Никогда не думал, что южане сумеют так работать в мороз. По выполнению плана они шли впереди всех наших субподрядчиков».

Абуладзе объяснил высокий трудовой настрой так: «Мы все понимали, что приехали сюда не на курорт, а работать. Правда, были такие, которые думали, что здесь деньги будут падать прямо с неба. Они нигде с неба не падают, их везде надо зарабатывать. Тех, кто не хотел этого понимать, мы отправили назад. Человек тридцать. Зато те, кто остались, работали не за страх, а за совесть».

Все бригады освоили подрядный, или, как его еще называют, злобинский метод. Генподрядчик, кровно заинтересованный в скорейшей сдаче объекта, обеспечил бесперебойное снабжение материалами, что же касается горийцев, они обеспечили высокий трудовой ритм. Лучше всего об этом говорят цифры: в 75-м году освоено 870 тысяч рублей, в 76-м — 1 миллион 704 тысячи, а в 77-м — 2 миллиона рублей. Строители знают, какие это большие объемы. Но главное — качество работ отменное. Мое пребывание в Вологде совпало с приходом представителя фирмы «Грекон» из Альфельд-на-Рейне. Он придирчиво, дотошно изучал, буквально ощущивал каждый квадратный метр, но неизменно был вынужден признавать: «Гуд, гуд». Кто-то из ребят сказал: «Зер гут!». Немец строго посмотрел на него и возразил: «Найн. Гут». Все весело рассмеялись. «Тебя бы сюда в 36 градусов мороза, тогда бы ты узнал, что такое зер и что такое гут», — сказал Сосо Макрахидзе, старший прораб.

Этот молодой инженер не знает, что такое усталость. Каждый день он первым приезжает на комбинат и уезжает последним. То его видишь здесь, а в следующую минуту он уже в другом конце цеха. «На стройке глаз да глаз нужен», — говорит он. И в то же время я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос, не видел его взвинченным, суетливым. Спокойный, доброжелательный, он создает вокруг себя деловую и уверенную обстановку. А мороз он вспомнил не случайно. Именно в минус 36, когда заливали бетон в фундамент, кто-то из местных шоферов закричал ему: «У тебя нос белый!», «А у тебя красный, ну и что», — отвечал Сосо. «Я не шучу, — не обиделся шофер. — Ты ведь нос отморозил себе». Сосо только тогда понял, что действительно не до шуток. Нос оттирали почти полчаса.

— И все-таки зимой легче, чем весной или осенью, — говорил Сосо. И он не кривил душой. В прошлом году, например, после проливных дождей Вологда вышла из берегов, затопила пойму за одну ночь. Когда утром смена вышла на

работу, оказалось, что 25-тонный кран по самую кабину в воде, только стрела торчит. Пришлось вызывать водолазов, чтобы подвести трос и вытащить машину. Другой раз засосало бульдозер. Вытащили его только зимой, когда подмерзало дно. Пока строили железную дорогу, машины с песком втащивал на насыпь бульдозер — стояла непролазная грязь.

Дорога невелика, всего два с половиной километра, но сил она отняла больше, чем сам комбинат. «Если бы не наш дед, не знаю, справились бы», — говорил Абуладзе. Дедом в поездке называли Николоза Горисевели. Ему 67 лет, но старик бодр и энергичен, любого молодого за пояс заткнет. Он возглавляет бригаду путейцев. Его специально вызвали из Гори, когда начали строить железнодорожную ветку от комбината к причалу, потому что Горисевели считается одним из лучших знатоков своего дела.

Если отбросить в сторону специфику Севера, то труд в Вологде в общем мало отличается от труда, скажем, в том же Гори. И там, и здесь добросовестный человек трудится добросовестно, а ловкач старается увильнуть от работы. Заслугой руководства ПДСП, его партийной и комсомольской организаций можно считать в первую очередь то, что они сумели сплотить коллектив, выбросить из него сорняки, личным примером увлечь людей. Мне крепко запал в память разговор с Эминиди. Было уже около девяти вечера, когда я приехал на стройплощадку.

Во второй смене работало человек сорок, но в громадном корпусе они совершенно терялись. Судите сами — длина корпуса — 237 метров, ширина — 72 и высота — 10 метров. Только звонко, как в пустой церкви, раздавались металлические звуки: это бригада Горисевели укладывала рельсы. Как всегда на рабочем месте Сосо Макрахидзе и Викентий Мгебришвили. Вместе с ними на этот раз был и Эминиди.

— А вы зачем здесь? — спросил я его. — Что, без вас не справятся?

— Справятся, конечно, — отвечал он. — Но или я, или Абуладзе всегда на объекте. Во-первых, обязательно возникают вопросы, которые требуют нашего вмешательства. А во-вторых, людям это приятно. Допустим, я был бы сейчас дома, играл с детьми. А у них тоже есть дети, а когда рабочие видят, что руководители вместе с ними делят тяготы, они совсем по-другому относятся к этим тяготам, я бы сказал, перестают их даже замечать.

Так рассуждал главный инженер поезда, он же и парт-орг — Геннадий Эминиди.

Часов в десять подъехал автобус, и мы отправились домой. Живут горийцы в обычном доме, которые строят, можно сказать, под копирку, что в Гори, что в Вологде. Типичный микрорайон — четыре дома образуют замкнутый квадратный двор. В воздухе — гомон ребятишек. На скамейках у подъездов молодые мамы с младенцами на руках. Из распахнутых окон льется музыка — родные знакомые мелодии. В общем, маленький уголок Грузии. На площадке у дома четыре новеньких машины — «Жигули». Вологодский облисполком выделил их за успешное выполнение плана 1976 года горийскому

поезду. Их купили крановщик Заур Гурцкишвили, про-
раб Вахтанг Барамашвили, рабочие Роберт Мурадов и Виктор
Романенко. Романенко работают всей семьей: жена Виктора
Марго Паксашвили — кассир поезда, а сын — инженер. Всей
семьей работают и Миндиашвили. Лаврентий и его сын Сосо —
каменщики, а жена Лаврентия работает в аптеке.

Несмотря на напряженный график, в поезде не забывают,
что не хлебом единым жив человек. Организатор экскурсий,
как правило, Гиви Какашвили — человек по характеру очень
общительный, про таких принято говорить — душа общества,
и молодежь тянется к нему, хотя в шутку Гиви считает себя
стариком. Ему уже 41 год. Гиви организовывал даже экскур-
сию в Москву, на матч тбилисского «Динамо» с «Торпедо». Автобус выделил трест, и 52 человека присоединились к бо-
льшой команде из Грузии. Кстати, в самом поезде тоже есть фут-
больная команда, она успешно выступает в товарищеских мат-
чах и даже победила местных чемпионов среди любителей —
команду ГАИ — со счетом 9:1!

Летом часто выезжают на реку Камела — это очень жи-
вописное место в окрестностях Вологды.

Давно замечено, что не только труд объединяет людей.
Именно те коллективы, где люди живут дружно, как одна
большая семья, оказываются наиболее дееспособными. Тем
более дружба, сплоченность и взаимопонимание так нужны
здесь, далеко от родного дома.

Вологжане навсегда останутся благодарны посланцам Гру-
зии, которые в сжатый срок, с высоким качеством соорудили
на их земле гигантское предприятие. Но не меньшей благо-
дарности заслуживают эти люди и в самой Грузии, ибо они по-
казали лицо настоящей Грузии — трудовой, честной, способ-
ной выдержать и преодолеть любые трудности. Мы часто го-
ворим и пишем о дружбе народов, но забываем, что дружба
эта не рождается сама по себе, а лишь когда встречаются ли-
цом к лицу люди труда и обща, локоть к локтю, делают об-
щее дело.

И наконец, добрым словом, я думаю, будут вспоминать
Вологду и сами горийцы. Ведь здесь они прошли хорошую
школу. «Мы бы любой, даже самый сложный объект в Грузии
выполнили бы на «отлично», — сказал Георгий Абуладзе, и в
его словах не было хвастовства. Сложился боевой, работоспо-
собный коллектив, которому по плечу действительно самое
сложное дело. Не случайно ведь поезд занял первое место по
тресту № 3, а трест считается лучшим в «Минсельстрое» рес-
публики.

РАЗРАБАТЫВАЯ ПРОБЛЕМЫ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Вопросы литературы народов СССР» — так называется первый на Украине республиканский межведомственный тематический научный сборник, предоставляющий свои страницы ученым академических учреждений, университетов и институтов, в которых разрабатываются проблемы многонациональной литературы народов СССР. Вышло два выпуска этого издания, своим существованием обязанного в первую очередь неумной энергии его главного редактора профессора Одесского университета В. В. Фащенко.

Что хотелось бы сказать после знакомства с этими выпусками?

Прежде всего следует отметить, что в их построении ощущается твердый план. Определенная направленность чувствуется и в отборе статей. Раздел «Теория», которым открывается сборник, имеет право на самостоятельное существование. Соединять его с другими, полагаю, не следует (см. вып. второй). Тем более, что в первом выпуске статья главного редактора В. Фащенко «По духу и характеру

интернациональная» представляет собой «настрой» для всего издания: это — своего рода программа действий. Во втором выпуске подобную роль выполняет статья Г. Ломидзе «Пути поиска» — о литературных взаимоотношениях. Поэтому хотелось бы, чтобы рубрика «Теория» всегда была самостоятельной. В дальнейшем здесь, очевидно, будут главенствовать теоретические разработки более узких профилей.

Внимание читателей должно привлечь и работы Н. Надъярных о принципах типологического исследования. Специфика сборника такова, что один из главных его разделов «Взаимоотношение литератур народов СССР» должен предлагать статьи, обобщающие данные различного типа анализа, в том числе типологического. Поэтому попытка пропаганды и разграничения принципов и задач этого ряда исследований, без которого невозможно писать о взаимоотношениях литератур народов СССР, заслуживает самого пристального внимания и одобрения.



Кроме уведомления «От редакции», где определена главная задача издания, читателям и особенно потенциальным авторам его следует учесть положения статей В. Фащенко, Г. Ломидзе, Н. Надъярных и других, определяющих лицо сборников, очерчивающих одну из двух главных их тем, направленность исследований.

Другой такой темой нам представляются литературные взаимоотношения. Поэтому, кроме работы В. Фащенко, общее значение имеют статьи Л. Берловской «Отец национальных литератур» — о деятельности М. Горького по сплочению национальных литератур, о многогранности этой деятельности. Правда, проблемы охвачены пунктирно, иногда только названы. Интересна статья Л. Чепурновой «Высшие формы человеческого общежития в литературе». Советский народ — новая историческая общность людей. Сложнейший процесс становления и развития этой интернациональной общности в нашей разноразличной стране художественно осмыслен многонациональной литературой социалистического реализма. Именно этот процесс и показан в общих чертах. Касающиеся его статьи имеют поэтому основополагающее значение.

Поскольку разнородность статей по характеру, их неодинаковая научная наполненность во многом зависят от развития конкретной литературы, от разной степени изучения литератур, наличие описательных материалов, в которых систематизируются первичные данные о той или

иной литературе и ее взаимоотношениях с другими литературами народов СССР, и статьи творческого характера, в которых разрабатываются отдельные проблемы, вполне оправдано.

Другая особенность — необходимость планомерного отображения явлений литературы народов СССР. Следовало бы в основу ряда статей сборников положить тематический принцип — показывать, как одна тема или явление освещаются в литературе разных народов, а иногда весь выпуск посвящать литературе одной из республик Советского Союза. Это придало бы сборникам ту монументальность и значимость, какие предполагаются самим существованием подобного издания.

Высоко оценивая его первые выпуски, мы желаем редколлегии дальнейших успехов в широком освещении литературы народов СССР. Поскольку осуществление этой задачи немыслимо без учета литературных взаимоотношений, весьма широко представленных в выпусках, существование подобного издания имеет большое значение и для Грузии. Русско-грузинские, грузинско-русские, грузинско-украинские, грузинско-белорусские и другие взаимоотношения освещаются все шире и полнее. На эти темы созданы исследования, написаны статьи, диссертации, монографии. Располагая всеми этими работами, грузинские ученые смогут активно сотрудничать с редакцией издания «Вопросы литературы народов СССР».

Дмитрий ТУХАРЕЛИ.

„Литературной Грузии“

«СТИХИ»

Этот поэтический сборник Отара Чиладзе вышел на русском языке в Москве в издательстве «Художественная литература» (1977). Ему предпослана вступительная статья Евгения Евтушенко под названием «Осязание слухом». В ней говорится, в частности, о том, что грузинский поэт «старается уловить всем своим осязанием слуха голос будущего даже в прошлом, когда он обращается к будущему или когда оно обращается к нему».

Эта книжка, составленная из 52 стихотворений и пяти поэм О. Чиладзе, выявляет стремление автора показать, какие мысли и чувства порождает в душе современника сложная действительность нашей эпохи. И хотя его поэтическая мысль многослойна и ассоциативна, она ясна и самобытна.

Донести до русского читателя очарование этого интересного, своеобразного дарования помогли издательству такие замечательные русские поэты, как Ю. Мороз, В. Полетаев, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, С. Куняев, В. Леонович и другие.

**«ВИТЯЗЬ В
ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»**

На этот раз гениальная поэма Шота Руставели выпущена издательством «Сабчота Сакартвело» (1977) на французском языке в переводе Елисабед Орбелиани и Соломона Иорданишвили под редакцией Гастона Буачидзе и Гиви Меладзе. Предисловие к книге написал Сергей Серебряков, оформил ее художник Зураб Капанадзе.

«КРАСНЫЕ КОНИ»

Так называется третья книга рассказов Бориса Андроникашвили, изданная «Московским рабочим» на русском языке (1977). Ей предшествовал сборник «Суббота — воскресенье», который вышел в 1976 году в Тбилиси на грузинском языке в издательстве «Накадули». А первая книжка Б. Андроникашвили «Август месяц» увидела свет на русском языке в 1973 году в Москве (изд. «Молодая гвардия»).

Как сказано в краткой аннотации к сборнику, его автора привлекает в человеке беспредельная искренность, прямая честность перед са-



мим собой и обществом. Именно такие люди в рассказах Б. Андроникашвили одерживают победу над мечтанством. прикрывающим свое духовное убожество маской внешней культуры и показного благородства. В книжку вошло одиннадцать рассказов. Среди них — «Невелика наука», «На чистых прудах» и другие.

«АНАКЛИЙСКАЯ НОЧЬ»

В этом двухчастном романе Элизбара Убилава на примере одной семьи показана жизнь грузинской деревни Анаклии как в довоенные, так и в послевоенные годы. В центре произведения судьба двух братьев, для которых главное в жизни — любовь, дружба, верность отчизне.

Книга выпущена на русском языке (перевод А. Перим) издательством «Мерани» (1977).

«ЯКОВ НИКОЛАДЗЕ»

Автор этой монографии, посвященной жизни и творчеству выдающегося грузинского скульптора, профессор, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР Игорь Урушадзе задался целью увязать анализ произведений Я. Николадзе с задачами, стоявшими перед грузинской скульптурой на различных этапах ее развития.

Во введении, характеризуя замечательного скульптора, автор ссылается на слова видного грузинского об-

щественного деятеля И. Гомартели, по меткому замечанию которого, Яков Николадзе «подобно бараташвилиевскому Мерани шел неизведанным путем и беззаветная любовь к искусству и народу явила подлинное чудо».

Книга, содержащая много иллюстраций, в том числе репродукций работ Я. Николадзе, издана на русском языке с грифом «Мерани» (1977).

«ТЕАТР»

Эта книжка Нателы Урушадзе из серии «В мире театра», выпущенная на русском языке Театральным обществом Грузии (1977), предназначена для учащихся-старшеклассников, интересующихся сценическим искусством, которое в школе не изучается.

«Рассуждая о главнейших вопросах театрального искусства, Н. Урушадзе старается, — пишет в предисловии народный артист СССР профессор Д. Алексидзе, — ввести юного читателя в мир театра, ознакомить с ним, увлечь им. Такого назначения не только этой книги, но и всей серии, издание которой начинается Театральное общество книгой Н. Урушадзе «Театр».

Посредством небольших очерков и творческих портретов серия «В мире театра» ознакомит учащихся с важнейшими вопросами и выдающимися деятелями грузинского театра прошлого и настоящего.

ЮБИЛЕЮ С. АЙНИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Институте востоковедения имени академика Г. Церетели Академии наук Грузинской ССР состоялась научная сессия, посвященная 100-летию юбилею писателя и ученого, видного общественного деятеля, основоположника таджикской советской литературы, лауреата Государственной премии СССР Садриддина Айни.

Сессию вступительным словом открыл директор института академик Академии наук Грузии Т. Гамкрелидзе.

Доклад о жизни и деятельности родоначальника таджикской реалистической прозы сделал профессор А. Гвахария.

Научная сотрудница Института востоковедения Н. Гигашвили говорила о поэзии большого художника, профессор Д. Гиунашвили посвятил свое выступление лексикографии С. Айни, научная сотрудница Музея дружбы народов Л. Этерия рассказала о переводах произведений таджикского писателя на грузинский язык.

Издательство «Сабчота Сакартвело» готовит к выходу в свет четыре книги «Воспоминаний» С. Айни.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КОМСОМОЛА ГРУЗИИ

Бюро ЦК ЛКСМ Грузии присудило премии комсомола Грузии в области литературы и искусства за 1976—1977 годы. Лауреатами стали:

Ччинадзе Гиви Леванович — за создание произведений детской литературы.

Ивардава Дилар Томаевич — за цикл стихотворений «Лед тает», «Там, где море и голубые горы», «Солнце, дай мне жизнь», «Героическая оратория», «Пять страниц моей жизни».

Коллектив Грузинского государственного театра пантомимы и его художественный руководитель **Ша-**

ликашвили Амиран Валерианович — за постановки «Освободите песню», «Зина Портнова», «Журавли».

Торадзе Лексо Давидович — за достигнутые успехи в области формирования искусства.

Шхвацбая Георгий Георгиевич — за памятник поэту-воину, лауреату премии комсомола Грузии Мирзе Геловани.

Ансамбль песни и танца Краснознаменного Закавказского военного округа — за плодотворную деятельность и активную шефскую работу по военно-патриотическому, интернациональному и эстетическому воспитанию молодежи.

«НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА»

На одной из этих улочек Тбилиси открылся Дом-музей выдающейся грузинской художницы, лауреата премии имени Ш. Руставели, народного художника Грузинской ССР Елены Дмитриевны Ахвледиани.

Этот небольшой дом на улице Киацели хорошо знали многочисленные почитатели ее таланта. Сюда приходили встретиться с Е. Ахвледиани, поделиться творческими замыслами, получить дружеский совет и поддержку большого мастера, побеседовать с художниками...

Заместитель министра культуры Грузии В. Якашвили при открытии Дома-музея Е. Ахвледиани отметил, что это крупное событие в культурной жизни Тбилиси, дань глубокого уважения и любви к творчеству Е. Ахвледиани.

Там же выступили академики Академии наук Грузинской ССР В. Беридзе, Г. Джибладзе, профессор И. Цицишвили, председатель правления Союза художников республики Н. Джанберидзе, директор Государственного музея искусств Грузии Т. Саникидзе.

Отныне гостеприимный дом прекрасной художницы широко распахнул свои двери для всех поклонников ее творчества, для всех, кто влюблен в искусство.

СОЗДАНА НОВАЯ СЕКЦИЯ

За последние годы в грузинской публицистике наметился значительный подъем. Написано много интересных произведений, отображающих действительность с активных жизненных позиций, затрагивающих актуальные проблемы наших дней.

Это продиктовало необходимость создать при Союзе писателей Грузии секцию художественной публицистики.

ДЕКАДА ПОЛЬСКОЙ КНИГИ

С большим успехом прошла в Тбилиси Декада польской книги, посвященная 33-й годовщине подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Польшей.

Большая экспозиция, на которой была представлена продукция двадцати крупнейших издательств братской страны, отличалась многообразием тематики, оформительским искусством, свидетельствовала о высоком уровне полиграфии.

Внимание посетителей привлекли произведения классиков польской литературы Г. Сенкевича, Б. Пруса, А. Мицкевича, Я. Ивашкевича, классиков русской литературы Ф. Достоевского, А. Толстого, красочные альбомы по искусству, книги для детей и юношества, медицинская литература.

Особое место в экспозиции заняли статьи и доклады Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева.

Дни польской книги также прошли в городах Кутаиси и Рустави.

ВСТРЕЧА С ТЕКСТИЛЬЩИКАМИ

По инициативе Калининской районной организации любителей книги и республиканской библиотеки имени К. Маркса в Тбилиском шелковом производственном объединении состоялась творческая встреча с известными грузинскими писателями.

Писатели поделились с присутствующими своими творческими планами, особо подчеркнули важность таких встреч, взаимно обогащающих и литераторов, и их многочисленных читателей.

Первый заместитель председате-

ля правления Общества любителей книги Грузии Д. Ломашвили рассказал о деятельности и дальнейших планах Общества книголюбов республики.

В ЕДИНОМ СТРОЮ

Стали уже традиционными творческие встречи писателей Грузии с коллегами из братских республик. Недавно в Каунасе гостила делегация грузинских литераторов, которая встретилась там с большой группой писателей Литвы.

«Грузия, жизнь людей этого далекого края, их повседневные заботы и мечты вошли в нашу литературу», — так справедливо отметил И. Склютаускас в своей книге «Рыцарь из Сакартвело». В дальнейшем немалая заслуга в области укрепления и развития литературных и культурных взаимосвязей принадлежит П. Цвирке, А. Венцлове, А. Жукаускасу, Э. Межелайтису и другим.

Однако во время встречи было отмечено, что в Литве, к сожалению, мало знают не только классическую, но и современную грузинскую литературу. Поэтому столь важна встреча писателей двух республик, которая прошла в деловой и откровенной обстановке.

С большим интересом были встречены выступления известного грузинского критика Г. Асатиани, проанализировавшего роман В. Бубниса «Цветение несеейной ржи», повесть В. Мартинкуса «Флюгер для семейного праздника», рассказ Р. Климаса «Кечюс, лунный свет и портвейн за два рубля» и писателя Г. Дочанашвили, который поделился своими впечатлениями о романе М. Слущкиса «Солнце под вечер».

В свою очередь литовские писатели подвергли анализу творчество шести молодых грузинских авторов, произведения которых были опубликованы на страницах литовского журнала «Нямунас». Был отмечен рассказ Д. Давлианидзе «Равновесие», в котором затронуты важные проблемы, сделана попытка проникнуть в глубь человеческого бытия. Несомненный интерес вызвали рассказы «Снег» А. Чхиквишвили и «Старики» Н. Шатаидзе.

Сделан еще один важный шаг в сближении двух народов, взаимно обогащающий две культуры, две литературы, позволивший еще раз подчеркнуть общность идей и задач, которые стоят перед грузинской и литовской литературами.



საქართველოს
ლიტერატურის
ინსტიტუტი

Об авторах этого номера

БАЛУАШВИЛИ Валенти-на Иосифовна. Доктор филологических наук. Занимается изучением проблем идейно-эстетического взаимообогащения национальных литератур. Автор свыше 30 печатных трудов, книги «Встречи с Грузией».

ДЖИБЛАДЗЕ Георгий Николаевич. Род. в 1913 г., академик Академии наук Грузинской ССР и Академии педагогических наук СССР. Литературовед и критик. Автор многих научных трудов. Работы Г. Н. Джибладзе о грузинской литературе XIX—XX вв. наиболее полно представлены в его пятитомнике «Критические этюды» (1955—1974).

КАДЖАЯ Валерий Род. в 1942 г. Очеркист. Работает в редакции газеты «Известия». Печатается в центральных газетах и журналах, а также в грузинской прессе.

КИКОДЗЕ Геронтий Димитриевич (1886—1960), грузинский советский писатель, критик, историк литературы, переводчик. Окончил философские факультеты Лейпцигского и Бернского

университетов. В Тбилисском государственном университете читал лекции по истории западноевропейской литературы. Литературоведческие исследования Г. Кикодзе сыграли большую роль в формировании эстетических вкусов современного грузинского читателя.

ТАБИДЗЕ Нодар Проклевич. Род. в 1931 г., доктор филологических наук. Автор книг — «Очерки по истории грузинской журналистики», «Первая грузинская газета», «Иверия» и Илья Чавчавадзе» и т. д.

ХАРАНАУЛИ Бесик Си-либистрович. Род. в 1939 г., грузинский советский поэт. Первые его стихи были опубликованы в 1956 году в журнале «Дроша». Автор четырех сборников стихов.

ЧАРКВИАНИ Джансур Авдидович. Род. в 1931 г. Грузинский советский поэт. Секретарь Союза писателей Грузии. Печатается с 1947 года. Автор сборников стихов и поэм. Поэмы «Солнце идет» и «Мой календарь» в 1967 году удостоились республиканской литературной премии ЦК ЛКСМ.

Сдано в набор 19 апреля 1978 г. Подписано к печати 14 июня 1978 г. 6 печ. листов, усл. листов 10,08. Формат 84×108^{1/32}

Заказ № 1166

Тираж 7.000

УЭ 08519

ՀԱՅԿԵՍՏԱՆԻ ՆՈՋԱՌԱՊՈՒԹՅՈՒՆ
321
28. VI 1978

26-78

78-32
საქართველოს
ბიბლიოთეკა

Цена 40 коп.

ИНДЕКС 76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა